

Elena Tolstaja

## Снег, цветы, Земсоюз: Алексей Толстой — военный корреспондент на Кавказе

---

**Неизвестные тексты.** Военные очерки Толстого известны нам по книжным редакциям, обычно сокращенным, изредка, наоборот, расширенным: именно в этих редакциях они вошли в научный оборот. Первоначальные же газетные версии этих очерков забыты: то же можно сказать о версиях и фрагментах очерков, публиковавшихся в приложении к ПСС, давно ставшем библиографической редкостью. Но если свести воедино первоначальные редакции, а также некоторые очерки, оставшиеся неопубликованными, они производят новое впечатление, там, по сравнению с книжными версиями, по-иному расставлены акценты, там много интереснейшего злободневного материала — так что во многом эти первоначальные версии являются для нас неизвестными текстами.

На фронт журналистам позволено было ехать не сразу. Толстой, как и все журналисты, ждал, когда им разрешат стать военными корреспондентами. Разрешение было получено в конце августа. Первый цикл военных очерков Алексея Толстого — шестнадцать корреспонденций, печатавшихся под рубрикой «Письма с пути», — публиковался в «Русских ведомостях» с августа по ноябрь 1914 года. Начинаясь он несколькими очерками, написанными еще до поездки на фронт. Первый — это «Трагический дух и ненавистники», объявляющий о рождении русского патриотизма, появившийся в газете 3 августа, вскоре после начала войны. Двадцатого августа в той же газете Толстой опубликовал еще один очерк, описывающий благотворные

нравственные перемены, принесенные войной, под названием «Первая ступень». Часть материала двух этих очерков, за вычетом некоторых злободневных деталей и с добавлением свежих идей и впечатлений, была включена потом в предисловие к его книге «На войне»,<sup>1</sup> выпущенной Книгоиздательством писателей в Москве (1915) в качестве 6 тома его текущего Собрания сочинений. Это предисловие Толстой озаглавил «Отечество». Оно отсутствует во втором, дополненном издании того же тома (1916; эта книга, второе издание 6 тома, — настоящая редкость). Позднее статья «Отечество» была перепечатана в ПСС (Т. 3). В отличие от нее, оба упомянутых газетных очерка 1914 года практически можно считать неизвестными текстами Толстого; между тем в них встречается много живых наблюдений и удачных мыслей, интересных с точки зрения общей литературной ситуации начала войны.

Десятого августа 1914 года «Русские ведомости» поместили другой его очерк — «Макс Вук», ярко живописующий метаморфозу, произошедшую с германским обывателем: подобно колдуну из тоголевской «Страшной мести», он в мгновение ока превратился в чудовище. Материал этот перепечатывался во всех собраниях сочинений. Двадцать четвертого августа в той же газете был опубликован очерк «Париж», призывающий спасти Францию, оплот гуманизма и европейской цивилизации. Он также попал в ПСС — но не в последующие собрания. Двадцать шестого августа последовала новая публикация: «Пленные (Впечатления)» — Толстой встретил германских пленных под Москвой. В очерке он делал упор на русскую незлобивость и щедрость к бывшим противникам, в особенности к австрийским солдатам. Последней толстовской фронтовой корреспонденцией 1914 г. стал очерк «В окопах» (23 ноября). В купе поезда, едущего в Москву, автор встречает молодого офицера, который рассказывает ему об окопах; по мере приближения к нормальной жизни боевой офицер преобразуется в обыкновенного мальчика. Оба этих очерка также включены в ПСС.

---

<sup>1</sup> Толстой А. Н. На войне. 1915, Собрание сочинений. Т. VI. «Книгоиздательство писателей в Москве». М., 1915. С. 7—12.

Очерк «В окопах» выводит повествование из фронтовой конкретики к общим темам и замыкает цикл фронтовых зарисовок в обоих изданиях книги «На войне», и лишь за ним следуют «Пленные», «Париж», «Макс Вук»: свой цикл 1914 года Толстой закольцевал этими тремя обобщающими эссе, написанными еще до его погружения в армейскую стихию.

В книге «На войне» (первом варианте 6 тома Собрания сочинений, 1915) фронтовые очерки 1914 года сгруппированы под тремя подзаголовками: «От Москвы до Томашева (август)», «От Москвы до Ярославля», «От Львова до Карпат». Во втором издании (1916), они делятся на два цикла: «По Волыни» (Август 1914) и «По Галиции (Октябрь 1914)».

В феврале 1915 года Толстой был командирован от тех же «Русских ведомостей» на Кавказский фронт, где Россия противостоит Турции, союзнице Германии. Он продолжал публиковать свои впечатления под тем же общим названием «Письма с пути», продолжая их нумерацию, начатую на Юго-Западном фронте — с XVII по XXIV.

При проверке *de visu* выяснилось, что библиографические сведения, повторяющиеся во всех собраниях сочинений Толстого, неверны. Очерки якобы печатались в номерах 37, 44, 45, 47, 50, 52, 57, 61 за 15, 24, 25, 27 февраля и 3, 5, 11, 15 марта. Однако в номерах 44 и 45 «Русских ведомостей» за 24 и 25 февраля 1915 года корреспонденции Толстого отсутствуют. По утверждению комментаторов ПСС, Толстой в № 44 от 24 февраля якобы напечатал Письмо XVIII, посвященное кавказскому отделу Всероссийского земского союза. Но там его нет. (Этот текст см. в Приложении к ПСС, Т. 3). Письма XIX в газете также не обнаружилось: после Письма XVII, вышедшего 15 февраля 1915 (№ 37), в выпуске от 27 февраля (№ 47), дано сразу Письмо XX.

Чем это объяснить? Письмо XVIII начинается сухим отчетом о работе Всероссийского земского союза на Кавказе; следует описание военного Тифлиса и жанровые сценки на похоронах и в благотворительном кафе — то есть весь этот материал не является военной корреспонденцией в строгом смысле слова. Письмо XIX, если бы не было в каком-то виде все-таки напечатано, вероятнее всего тоже сохранилось бы в архиве, как Письмо

XVIII. Но нам кажется, что оно все же дошло до нас в виде начала главки 2 книжного текста «На Кавказе»: первую половину ее составляют живописные сцены толчеи и коррупции на тифлисском вокзале, которые могли вызвать те же возражения, что и Письмо XVIII: это еще не была военная корреспонденция.

Во второй половине главки 2 излагается рассказ безымянного офицера-попутчика о массовом переходе аджарцев на сторону турок и об огромных турецких потерях. Можно предположить, что это и было Письмо XIX. Вызвать цензурное недовольство могли тут шокирующие картины истребления турок под Сарыкамышем (сам офицер-рассказчик не мог больше убивать — у него «становились волосы дыбом»), включая историю об ущельях, заполненных оттаивающими трупами турецких солдат, с бьющими оттуда газовыми «вулканчиками». Так или иначе, этот текст в газете напечатан не был и впервые появился только во втором издании книги «На войне».

В начале февраля Толстой приехал поездом в Тифлис, где и переночевал. До Батума он добирался автомобилем, присланным за ним Земсоюзом. По дороге еще раз остановился — в лазарете, принадлежавшем тому же учреждению. Ясно, что сведения о работе Земсоюза на Кавказе, содержащиеся в неопубликованном тогда Письме XVIII, и гораздо более подробное изложение той же темы в начале Письма XX были почерпнуты им из бесед с людьми, принимавшими его у себя в пути и затем в Батуме.

Оттуда писатель выезжал на приморские позиции. Хотя из корреспонденций все географические названия цензурой вычеркивались, о своем местопребывании он сумел сообщить читателям в конце письма XX: «Увидите сами, — любопытное зрелище: пока заряжают пушку, наводят, дают огонь, ничего на горе не видно, а после выстрела сейчас же показывается где-нибудь усатая рожа, и по всей горе — «ба-тум», «ба-тум», «ба-тум» затрещат ихние винтовки...»<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> А. Н. Толстой. Собрание сочинений. Т. VI. Изд. Второе, дополненное. Кн-во писателей в Москве. 1916. С. 90.

По первоначальному плану, Толстой должен был вернуться в Тифлис, а потом отправиться в Карс и Караурган.<sup>3</sup> Но из очерков явствует, что в течение всей этой командировки он оставался в прибрежной полосе, перемещаясь на пароходе к югу, в очередные — неназванные — приморские городки, и оттуда поднимался в горы, на позиции. Сам он сознавал ущербность своего корреспондентства: «Подумаешь, — очень нужны геморроидальным подписчикам Р<усских> В<едомостей> письма с Кавказа, где и войны-то никакой нет».<sup>4</sup>

Туда, где происходили самые интересные военные события, он так и не добрался: в Карс его не направили. Корреспондентом «Русских ведомостей» там был Ф. Крюков, казачий писатель, дававший очень подробные военные обзоры — в феврале 1915 это была серия «За Карсом», потом «В Азербейджане». В том же феврале очерки из Польши в «Русских ведомостях» печатал В. Брюсов; военные материалы поставляли и шлиссельбуржец Ник. Морозов, и эсер С. М-ский (Мстиславский<sup>5</sup>), и еврейский фольклорист С. Ан-ский (Ш. Раппопорт). Рассказов было очень мало, изредка их присылал Серафимович.

Вернувшись с Кавказа домой, Толстой быстро напечатал остальные «Письма с пути» (XXI, XXII, XXIII и XXIV, «Русские ведомости», 3, 5, 11 и 15 марта 1915). Ему явно не терпелось перейти от военных очерков к военной беллетристике, и уже 22 марта 1915 года в газете появился рассказ «На горе», прямо связанный с кавказскими впечатлениями. В апреле РВ издали его рассказ «Анна Зисерман», в мае появилась «Шарлота», в июне в двух номерах — «Буря», в ноябре — в трех номерах — «Спа-

---

<sup>3</sup> А. Н. Толстой. Переписка. В двух томах. Т. 1. М. 1989. С. 228.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> С. Мстиславский (псевдоним Сергея Дмитриевича Масловского, 1876—1943) — советский писатель. До революции офицер генштаба, начальник библиотеки Николаевской военной академии, создатель Военной масонской ложи и автор устава русских масонов. Параллельно — эсер-боевик: его люди казнили Гапона. Как левый эсер вошел в первую — во главе с Троцким — советскую делегацию на переговорах в Брест-Литовске и единственный из всей этой делегации выжил. После Бреста вышел из партии, стал профессиональным писателем, автором десятка романов. Возглавлял ряд издательств, потом БСЭ. В 1938 был назначен официальным биографом Молотова. Умер в эвакуации.

сенный» (потом получивший название «Под водой»). Зная, что читатели ожидают от него очередного очерка, он давал уточняющий подзаголовок «Рассказ».

В феврале-марте 1916 года Толстой послан был от «Русских ведомостей» в Англию в составе группы русских писателей и журналистов. Корреспонденции, написанные им во время и по следам этого путешествия, с марта по май и объединенные под заглавием «В гостях у англичан», составили цикл «Поездка в Англию». Толстой успел включить его в то же второе дополненное издание 6 тома Собрания сочинений (1916), где были перепечатаны, с большими сокращениями<sup>6</sup>, и очерки «На Кавказе», и циклы «По Воьлыни» и «По Галиции». И, наконец, в декабре 1916-го он в последний раз отправился на Западный фронт, где оставался несколько недель, но опубликовал об этом только один очерк — «Из дневника на 1917 год» (РВ, 17 января 1917).

Итак, вопреки распространенному мнению, Толстой не «провел на театре военных действий почти три года»<sup>7</sup>. На Юго-Западном фронте он находился всего два месяца — с конца августа по конец октября 1914-го, на Кавказском — меньше месяца в феврале 1915 г.; несколько дней пробыл в расположении английского корпуса во Франции — в марте 1916 г. — и несколько недель в Минске, откуда он разъезжал по Западному фронту в декабре 1916 — январе 1917 г.

**Народ.** Как сегодня можно интерпретировать хрестоматийное высказывание Алексея Толстого: «На войне я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, сорвав с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ»<sup>8</sup>?

Чем, собственно, мешал ему жить этот черный сюртук? Конечно, тут подразумевается его собственная петербургская литературная юность и «Аполлон», где он состоялся как прозаик,

---

<sup>6</sup> Эти исключенные куски частично вошли в приложения и комментарии III тома ПСС А. Н. Толстого. М. Гослитиздат. 1949.

<sup>7</sup> А. Н. Толстой. Собрание сочинений. Т. 6. 1915. С. 5. А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений: В 15 тт. М. — Л. 1947—1952. Т. 3. С. 475 (комментарий).

<sup>8</sup> ПСС 1, 85.

входивший в «молодую редакцию» журнала вместе с Гумилевым и Кузминым; словом, это тот самый сюртук, в котором он, тогда еще худощавый, был сфотографирован в 1909 году — со стилизованно мягким воротником сорочки и в старинной славянофильской «кучерской» прическе под горшок, она же новомодная парижская. Но зачем ему вздумалось кусать символистов? Ведь символист Брюсов, приветствовавший его дебют, печатал Толстого в «Русской мысли» — а сейчас тоже писал окопные корреспонденции; стихами и прозой Белого Толстой насквозь пропитался в пору литературного ученичества и в 1915 году был в восторге от «Петербурга». Блок, не любивший Толстого, и сам давно расстался со своим сюртуком: в отличие белобилетника Толстого (Алексея Николаевича тогда признали негодным к военной службе из-за повреждения лучевого нерва), он был мобилизован и состоял в интендантской части. Акмеист Гумилев, другой недруг Толстого, черный сюртук которого тот упомянул в своем некрологическом очерке 1921 года, пошел на фронт добровольцем и печатал «Записки кавалериста». Короче, никаких символистов и сюртуков давно не осталось, а денди даже в тылу носили «военные рубашки», т.е. гимнастерки, которые Толстой называл «лягушиными рубашками». И вообще к началу войны он уже два года как успел порвать с кругом вскормившего его «Аполлона», переехать в Москву и начать строить все заново.

Более того — вряд ли писатель, выросший в заволжской деревне, впервые встретил народ только на войне. В пьесе «День Ряполовского» (1912) он изобразил симпатичнейшего дворянина-бунтаря, который мутит мужиков, подбивая их на восстание. Народ описан был уморительно смешно и со знанием дела. Вероятно, имелось в виду все же нечто другое. Подобно Софье Федорченко, автору великой книги «Народ на войне», Толстой заглянул в народные мысли и чувства и ощутил свою принадлежность к этому целому. Пафос его военных циклов — единство: внутреннее родство армии и штатских, офицеров и солдат, которые все вместе и есть народ.

Толстой понимал, что от него ждут именно войны, увиденной штатским из штатских; не батальных сцен, а психологиче-

ских картин и портретов. Но это портреты, выбранные специально, с умыслом. В них ощущается телеология: кажется, ему хотелось показать нового гражданина страны, в котором уже угадывается то, что вскоре будет называться «грядущей Россией», — человека одновременно свободного и ответственного, человека, берущего на себя инициативу<sup>9</sup>. В очерках осени 1914 года это такие восхитительные фигуры, как доброволец санитар Сусов, душа санитарного поезда, и женщина-врач, материалка и феминистка, с ним враждующая; кроткие меннониты — сектанты, которым нельзя воевать, а потому они служат санитарями, или англазированный юный петербуржец А. Н., который для воспитания воли по ночам пробирается в окопы, разнося шоколад и чай.

**Встречи с замечательными людьми.** Еще в октябре 1914 сквозной темой толстовских очерков стал Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам. С земским санитарным поездом он едет из Москвы в Белосток и по дороге знакомится с уполномоченными Земсоюза — Н. Н. Ковалевским и Тихоном Полнером, толстовцем и общественным деятелем, работавшим с земскими санитарными отрядами еще на японской войне<sup>10</sup>: «О двух этих людей рушился ураган нетерпеливости, успокаивался затем и получал нужное направление». Полнер все пытается дотянуться до своего стакана чаю, но все

---

<sup>9</sup> Мы находим такие мотивы не только у Толстого: сходными чувствами одушевлена была в 1916 году, например, публицистика Виктора Севского (псевдоним Вениамина Краснушкина) в «Приазовском крае». В конце Второй мировой войны Толстой опять ощутил, что на войне воспиталось новое поколение, и вновь надеялся на благотворные изменения.

<sup>10</sup> Полнер Тихон Иванович (1864—1935) — журналист, общественный деятель. Секретарь организационного бюро общего съезда земских и городских деятелей; в 1905 г. секретарь июльского и ноябрьского съездов земских и городских деятелей. Редактор журнала «Известия общеземской организации» (1905—1906), автор двухтомной «Общеземской организации на Дальнем Востоке» (в период Русско-японской войны) и других трудов: «Наше земство и 50 лет его работы» (в соавт. с кн. Г. Е. Львовым); «Жизненный путь князя Г. Е. Львова»; «Лев Толстой и его жена». В эмиграции в Париже, входил в редакцию «Современных записок», возглавлял издательские проекты.

новые и новые просители никак не дают ему»<sup>11</sup>. В центре внимания Толстого оказывается глава поезда и будущий действительно великий человек — доктор Абрам Соломонович Залманов, главврач военных госпиталей и генерал медицинской службы, будущий врач Ленина — натуропат, геронтолог, основатель русской курортологии, изобретший метод воздействия на капиллярное кровообращение. Залманов в его изображении — «человек с неутомимой силой и страшной жадностью к жизни». Всем — «от санитаря до врача, — всем в нашем поезде внушил Залманов это приподнятое отношение: работе ли, отдыху, веселью отдавать все силы». <sup>12</sup> Толстой с восхищением описывает, как тот проводит свои отпуска — уезжает на Белое море ловить треску или ходить с шарманкой по Италии, а не то прикинется чистильщиком сапог у паровой пристани или переоденется арабом — предсказателем будущего.

К поезду Земсоюза прицепляют еще один состав, в котором едет другой летучий отряд — и в нем оказывается В. В. Шульгин, (в ПСС имя его, тогда узника Владимирской тюрьмы, заменено литерой Ш.), который рассказывает о своем первом бое: «Я знал Шульгина как человека заносчивого, теперь же похudevшее, утомленное лицо его мягко и покорно, словно он уже давно почувствовал и пережил возможную смерть, совсем спокоен <...> За чаем, у наших узеньких столов, при свечах все слушают его рассказ о тех 35 минутах, когда он вошел в первый свой бой, пережил восторг битвы, жажду бежать, стрелять, колоть, затем угрызения совести за этот восторг, словно принадлежащий другому человеку, — не ему, а какому-то театральному, — затем острое напряжение внимания, потом удар, точно палкой по спине, осколком шрапнели, — и потом, когда он вскочил от боли, почти незаметный ожог, — его, стоящего, пронизала австрийская пуля». Второй интересный попутчик — Н. Н. Львов:<sup>13</sup> «За другим столом Н. Н. Львов, уколотый скептической фразой

---

<sup>11</sup> А. Н. Толстой. На войне. М., 1915. С. 65—66.

<sup>12</sup> Там же С. 70.

<sup>13</sup> Николай Николаевич Львов (1867—1944) — кадет, депутат I, III и IV Государственной думы, в 1912 г. один из основателей партии прогрессистов; после революции — участник Белого движения, затем эмигрант.

своего собеседника, сжимает эфес пашки, и лицо его, худое, узкое, тонкое, с бородкой и пепельными крутами под глазами, — и глазами прекрасными и пылающими, — то кажется важным, то мягким, и вслед за гневной тенью промелькнет по нему усмешка; и только в России бывают такие лица; их никогда нельзя определить, сколько чувств проходит по ним, так они изменчивы и своевольны. „Мы слишком много отдали этой войне, — говорит он, — мы стали новым народом, одним великим чувством охвачена вся Россия, все крестьянство; мы вступаем на новый путь, мы пробудились наконец, приняли на себя мировую миссию...»<sup>14</sup> Думается, скептиком, выступавшим против любой войны и раздраженным великодержавным энтузиазмом Львова, здесь был толстовец Полнер. Характерно, что автора восхищают все они, независимо от позиции.

В кавказских очерках подобную же роль восхитительного нового человека играет генерал Л. (Ляхов)<sup>15</sup>.

У стола стоял стройный, широкоплечий человек, в серой черкеске, с костяными патронами и с костяной ручкой кинжала на черном поясе — генерал Л.

Он внимательно оглядел меня: его лицо, с раздвоенной русой бородкой, с небольшими усами над правильным, твердым ртом, с глазами холодными и серыми было чрезвычайно красивое и жуткое. Такие лица запоминаются навсегда; в них, как на камне, отпечаталась воля, преодолевшая страсти. Генерал спокойно выслушал меня, затем сказал: «Увидите на месте сами вверенные мне войска, каждый день мы продвигаемся вперед. Везде, где возможно, я даю

---

<sup>14</sup> С. 73.

<sup>15</sup> Генерал-лейтенант Владимир Платонович Ляхов (1869–1920), с 1898 г. служил на Кавказе, старшим адъютантом штаба, штаб-офицером для поручений при штабе округа, с 1904 начальником штаба дивизии.

Командующий Персидской казачьей бригадой и генерал-губернатор Тегерана (1908), начальник войскового штаба Кубанского казачьего войска Кубани (1912). Во время Первой мировой войны на Кавказском фронте. В 1917 году командовал корпусом. Примкнул к Белому движению, командовал корпусом в Добровольческой армии; в 1919 г. — главнокомандующий войсками Терско-Дагестанского края, затем в резерве. В 1920 году был убит в Батуме.

место молодым. Честолюбие молодого офицера — в храбрости...»<sup>16</sup>.

Тут денщик вводит некоего просителя — отставного полковника, который так фальшиво рассыпается в уверениях, предлагая свои услуги, что генерал после его ухода замечает: «Подобных сотрудников у меня быть не может». Затем входит капитан,

молодой, загорелый, спокойный и бесстрастный; слегка поклонившись, он подал большой конверт с пятью красными печатями и, после приглашения, сел, глядя на носки своих грязных сапог. Генерал быстро сломал печати, прочел донесение и вежливо, как равному, отдал приказание. Капитан поднял умные черные глаза, наклонил голову и вышел, не сказав ни единого слова.

Красота этого нового стиля — во внутреннем сознании равенства, взаимном уважении и пластике предельной простоты и лаконизма. Потом, в английских зарисовках 1916 года, именно эти черты Толстой будет подчеркивать, говоря о британских офицерах.

Кульминацией кавказских очерков стал подвиг поручика Орлова, попавшего в турецкое окружение и просидевшего со своей полуротой сорок пять дней на горе в снегу, на сухарях, в одной рубашке. В конце концов, он сам вышел в разведку, определил уязвимое место противника и ночью ринулся туда на прорыв со всеми солдатами, унося раненых: «Орлов вывел свою полуроту к морю, к нашим войскам и явился перед офицерами без шапки, одичалый, голодный и веселый; было похоже, что он свалился с того света»<sup>17</sup>. Вся эта история подробнейшим образом описана в толстовском рассказе «На горе», появившемся в газете по горячим следам — сразу вслед за последним «Письмом с пути», посвященном тому же сюжету. Весьма вероятно, что это и есть тот самый загадочный Орлов, который присутствует в дневниках Толстого революционных лет как неустановленное лицо.

---

<sup>16</sup> Том 6 дополненный. М. 1916. С. 88.

<sup>17</sup> Там же. С. 105—106.

Но и у рядовых Толстой открывает новые черточки. Офицер В. говорит, указывая на одного из своих солдат:

Много в газетах о разных геройских подвигах пишут, а вот этот так и умрет, — никто о нем не узнает. А по-моему он точно герой.

В это время герой проходил мимо; я всмотрелся; весь он был в морщинах, глаза выглядывали из мохнатых каких-то щелок; русая борода росла отовсюду, где только могла, ростом был так себе, сам неказист, точно выкопали его где-нибудь плугом, как корягу. В. продолжал:

— Он, изволите видеть, третьей очереди, пригнали его во Владикавказ, заставили перед казармами улицу мести, — словом, на легкую работу; видят, — хилый мужичонка и семейный. Помел он улицу с неделю, явился по начальству и говорит: «Я с Китаем воевал, и с японцем, нам подметать мусор неудобно, уж коли от своего деревенского дела отрешили, дозвоьте воевать. Его прогнали, конечно. Взял он хлеба каравай из пекарни, ночью тайком ушел по Военно-грузинской дороге в Тифлис, там порасспрошал, на вокзале проводника побил, — как ты, говорит, с воина смеешь деньги требовать», приехал в Батум<sup>18</sup> и сюда прямо ко мне: «Ваше благородие, слышал, что вы разведчиками командуете. Дозвоьте у вас послужить». И с первого же раза проявил отчаянность и не совсем отчаянность, — все-таки отчаянный человек вроде пьяного, а этот линию свою рабо-

---

<sup>18</sup> Батум, морские ворота Грузии — столица Аджарии. Аджарцы — исламизированные грузины. С 1878 г. входил в состав Российской империи, со статусом порто франко. Возобновление контроля над Батумом было одной из целей Османской империи в Первой мировой войне. К концу 1914 г. при содействии аджарцев, восставших против российских властей, под контроль турецких войск перешла почти вся Батумская область, а также город Ардаган Карсской области и значительная часть Ардаганского округа. На оккупированных территориях турки, при содействии аджарцев, осуществляли массовые убийства армянского и греческого населения. К апрелю 1914 эти территории вновь были взяты русскими войсками.

В 1918 г. по Брестскому миру Батум отошел Турции, но после падения Германии вошел в зону британской оккупации. В марте 1920 после разгрома буржуазной Грузии в город ненадолго зашли османские войска, но почти сразу же была достигнута договоренность с большевиками, по которой турки уступали им Батум и область.

чую до конца гнет, и никакого страха у него, разумеется, быть не может. «Ну, думаю, шалишь, брат, я тебя зря терять не хочу». Вот видите, ходит, коли не особенно нужно, он у меня на отдыхе, а беру его в самое что ни на есть трудное дело. И представьте, на днях получаю бумагу из Владикавказа, что он предается суду за побег. Хорошо? Нет, пусть они меня тоже судят. Я им отписал, что такой-то солдат представлен мною к Георгиевскому кресту»<sup>19</sup>.

**Земсоюз.** Кавказские очерки в газетных вариантах насквозь проникнуты темой Всероссийского земского союза. Похоже, что в начале 1915 года Толстой и сам был тесно связан с тамошними людьми — ведь из Тифлиса его забрал их автомобиль и даже жене он оставил для переписки адрес Всероссийского земского союза в Тифлисе<sup>20</sup>. Как мы помним, о Земсоюзе Толстой вкратце писал в неопубликованном Письме XVIII:

...У подъезда пыхтел автомобиль; черкес провел меня наверх через клады и канцелярии к князю Сумбатову<sup>21</sup>, заведующему кавказским отделом организации Всероссийского земского союза. Деятельность отдела чрезвычайно велика и вглубь Закавказья направлена тремя артериями — на Батум, на Ольты<sup>22</sup>, на Игдырь<sup>23</sup>. В каждом направлении имеются разбросанные сетью передовые перевязочные отряды, питательные пункты и лазареты. Через отдел проводится раздача подарков на передовые позиции.

---

<sup>19</sup> С. 98—99.

<sup>20</sup> Переписка Т. 1. С.228.

<sup>21</sup> Кн. Сумбатов — неустановленное лицо. Это, конечно, не мог быть Александр Иванович Сумбатов-Южин, известный плодовитый драматург и замечательный актер, директор Малого театра (1857—1927), первый театральный деятель, поддержавший театральные опыты молодого Толстого (в 1913 году он поставил его пьесу «Насильники»). Это мог быть В. Н. Сумбатов, в 1914 — выборный от самарского земства в Самарский губернский комитет по снабжению армии (где также работал Мстислав Толстой, родной брат А. Н. Толстого). Но гораздо более вероятно, что это местный кадр.

<sup>22</sup> Ольты — городок на турецкой границе, контролирующий дороги на Ардаган и Карс.

<sup>23</sup> Игдырь — совр. Ыгдыр, район на востоке Турции на границе с Ираном, Азербайджаном и Арменией.

На севере мало знают о Кавказе, о здешней войне, еще меньше — о врачебной помощи; до сих пор я видел только, что раненый и больной солдат попадает в прекрасные санитарные условия; тяжела лишь доставка его с крутых и лесистых гор на пункты. В направлениях Ольты и Игдыря в отрядах Глебова и Полнера горы выше, завалены глубоким снегом; среди турок сильные заболевания; там приходится бороться с бездорожьем, вьюгами и стужей; работа уполномоченных, всех врачей и персонала, попавших в необычные и трудные условия Кавказа, в высшей степени напряженная, заслуживает всяческого внимания в обществе<sup>24</sup>.

Более подробные сведения об устройстве и специфике работы Земсоюза на Кавказском фронте обнаруживаются в первой половине газетного Письма ХХ в РВ 27 февраля 1915. В книжной версии и этот эпизод отсутствует. Это большой кусок текста, в газете сильно пострадавший от цензуры; из него явствует, что Толстой досконально входил в особенности нового дела и с пониманием описывал нововведения, сымпровизированные именно для кавказской горной войны:

---

<sup>24</sup> ПСС. Т. 3. На войне. Рассказы. М., ГИХЛ, 1949. Приложение. С. 469. Ср. интересный материал:

«В медицинском обеспечении Кавказской армии в период первой мировой войны активное участие принимали общественные организации. К ним относятся Союз городов Кавказа, Красный Крест, Земский союз, Бакинское общественное собрание, Армянское благотворительное общество, Главный кавказский комитет «помощи пострадавшим от войны» и другие. Союз городов Кавказа, созданный задолго до начала первой мировой войны, с 9-го ноября 1914 г. начал функционировать в качестве Кавказского отдела Всероссийского союза городов. Управление главноуполномоченного Российского общества Красного Креста (РОККа) при Кавказской армии сформировалось в ноябре 1914 г. <...> Кроме общественных организаций, на Кавказском фронте действовали и частные лица. По действовавшему законоположению, все общественные и частные организации в военное время объединились под флагом Красного Креста. Задачей общественных и частных организаций было содействие военно-санитарной службе в военное время в оказании помощи раненым и больным и в борьбе с инфекционными заболеваниями». Г. А. Мелкумян. «Роль общественных организаций в медицинском обеспечении Кавказской армии в годы Первой мировой войны». 1977. — [hpj.asj-oa.am/2926/1/1977-3\(221\).pdf](http://asj-oa.am/2926/1/1977-3(221).pdf)

...отрядом всероссийского земского союза заведует граф Шереметев<sup>25</sup>; им устроены у моря [строчка отточий] два госпиталя и от каждого из них на передовые позиции брошены шупальцами летучие перевязочные отряды. Не в пример австрийскому и прусскому фронту, где битвы происходят обычно близ железных и шоссеиных дорог, война на Кавказе ведется в непролазных чащобах, на вершинах гор, куда забирались в прежнее время только медведи да дикие кошки. Турки не придают дорогам большого значения; [2 строки отточий] их больше влекут неприступные вершины, обрывы и ущелья. Даже в такой грубой вещи, как война, сказывается их восточная мечтательность: здесь дерутся над облаками в торжественной тишине снежных вершин, и нашим солдатам поневоле приходится покидать прекрасное шоссе и долины, удобные для развертывания и битв, и, кряхтя и потя, лезть на высоту двух верст, чтобы оттуда штыками выбить оборванных романтиков, — турецких регулярных солдат, каторжников, выпущенных из Трапезунда<sup>26</sup>, и восставших аджарцев.

Поэтому и организация медицинской помощи должна была приноровиться к условиям здешней войны. Летучие отряды работают иногда в непосредственной близости неприятеля, иногда где-нибудь в ста шагах от турок, прячась за выступом скалы. Доставка раненых чрезвычайно трудна. Шереметев применил особый тип облегченных носилок, сделанных из бамбука. Применены им также нового типа конные носилки, которые помещаются на одной лошади, что очень важно на крутых с частыми поворотами тропинках в здешних горах. Все, — палатки, носилки, лошади, белье и прочее, — приобретено и организовано гр. Шереметевым на месте с чисто американской энергией и быстротой. Я видел, как на берегу моря, среди развалин древнего горо-

---

<sup>25</sup> Граф Павел Сергеевич Шереметев (1871—1943) — историк искусства, общественный деятель. Во время русско-японской войны уполномоченный Российского общества Красного Креста. С 1914 г. в ополчении, весь 1915 год занимался помощью раненым в действующей армии. В пореволюционные годы, по 1929-й, заведовал усадьбой-музеем Остафьево.

<sup>26</sup> Трапезунд (совр. Трабзон), греко-турецкий портовой город на побережье Черного моря. В 1916—1918 г. находился под властью России. Впоследствии греки покинули город в рамках обмена населением между Грецией и Турцией.

да, на площадке, заросшей цветущими уже с начала февраля яблонями и лавровишнями, возник в пять дней прекрасно оборудованный госпиталь и на шестые сутки выкинул уже три летучих отряда на передовые позиции.

В первый же день я выехал ...для осмотра этих отрядов в долину... в автомобиле, любезно предоставленном мне гр. Шереметевым<sup>27</sup>.

Следующее за этим эпизодом описание «штаба отряда и Красного Креста» Толстой в книжной версии сохранил, но снял упоминания о том, что это был отряд именно Земского союза помощи больным и раненым воинам, с Красным Крестом сотрудничавший (что было обязательно для всех подобных организаций по закону), и о том, что мировой судья, развертывавший на передовых позициях новый питательный пункт, — помощник гр. Шереметева<sup>28</sup>. Подробное описание госпиталя Земсоюза, женщины-врача, его организовавшей, доктора с его историями приводится в книжной главке IV<sup>29</sup> — и снова без первоначальных указаний на Земсоюз.

**Автоцензура?** Почему же Толстой снял все упоминания о столь восхитившей его организации при переиздании кавказских очерков в книге? Может быть, он считал эти подробности злобой дня, не заслуживавшей увековечения? На наш взгляд, причины такого поведения носят чисто политический характер. Деятельность Земского союза помощи раненым и больным воинам была разрешена вскоре после начала войны, еще до того, как главой его был выбран оппозиционер, кадет князь Георгий Евгеньевич Львов<sup>30</sup>. По воспоминаниям другого видного деятеля

---

<sup>27</sup> РВ. 27 февраля 1915.

<sup>28</sup> Т. VI. С. 89.

<sup>29</sup> Там же. С. 90—92.

<sup>30</sup> Князь Георгий Евгеньевич Львов (1861—1925) — земский и политический деятель, депутат 1 Думы. В 1914 г. возглавил для помощи армии «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым военным» с годовым бюджетом в 600 млн руб., а с 1915 по 1917 возглавлял объединённый комитет Земского союза и Союза городов — Земгор. После Февральской революции, с 10 (23) марта 1917 — министр-председатель и министр внутренних дел Временного

Союза, Ф. Шлиппе<sup>31</sup>, избрание Львова стало неприятной неожиданностью для властей. Но в первые месяцы войны, несмотря на ограничения со стороны МВД, правительство, заинтересованное в помощи земства, финансировало эту организацию и предоставило ей определенную самостоятельность в области военных заготовок и упорядочения хозяйственной жизни. По утверждению русского официоза, Союз развернул свою деятельность исключительно на государственные дотации и якобы не был связан никакой отчетностью. По всей вероятности, это не так — во всех документах упоминаются суммы земских частных пожертвований, например, только в октябре 1914 г. в Главный комитет Всероссийского земского союза поступило 57 629 рублей пожертвований.<sup>32</sup> Власти даже считали, что именно за счет повышенного, по сравнению с официальными ставками, жалованья, которое выплачивал Союз своим сотрудникам, в России началось подорожание. Союз, с его годовым бюджетом в 600 млн руб., стал основной организацией, взявшей на себя оборудование госпиталей (более 3000) и санитарных поездов (более 75), поставки одежды и обуви для армии. Вместе с тем министры отмахивались от настоятельных просьб со стороны руководства Союза — поставить его деятельность в четко оговоренные право-

---

правительства (до Керенского), был председателем Совета Министров Российской империи (фактически главой государства). В эмиграции во Франции, в 1918—1920 гг. возглавлял Русское политическое совещание в Париже. Был любимым другом А. Н. Толстого в эти годы. Основал биржи труда для помощи русским эмигрантам, отдал им средства Земгора. От политики вскоре отошёл, бедствовал. Работал батраком, написал мемуары.

В его парижской квартире после его смерти жила семья брата А. Н. Толстого — эмигранта Мстислава Николаевича Толстого. Сейчас там живет его дочь Ольга.

<sup>31</sup> Шлиппе Федор Владимирович (1873—1951) — российский, затем эмигрантский общественный деятель, жил в Германии, потом в Бельгии. В Берлине в 1920-е гг. руководил Красным крестом. Оставил мемуары об истории земства в России (Российский архив, т. 17, 2008).

<sup>32</sup> *Е. Д. Борщукова*. Частная благотворительность в России в условиях Первой мировой войны. Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 84. С. 63. См. основополагающую общую работу: *Б. Б. Веселовский*. Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской (ныне Петроградской) губернии (1865—1915 гг.). Пг., 1917.

вые и контролируемые государством границы. Это, конечно, легализовало бы неудобную организацию, чего как раз не хотелось властям, а потому они упустили возможность диалога с нею — и, соответственно, надзора над ней. Более всего правительство раздражала либеральная ориентация подавляющего большинства сотрудников и самого руководства Союза — действительно, именно это руководство возглавило Россию после Февральской революции. На протяжении 1915 года отношения между Земсоюзом и властью обострялись, в особенности тогда, когда ухудшилось положение на фронте. Союзу не давали возможности выйти за рамки медицинской и санитарной помощи и заняться эвакуацией и призрением душевнобольных солдат или борьбой с эпидемиями, — а самое главное, эвакуацией и устройством беженцев. Министерство страшилось того, что земство все более сосредотачивало в своих руках государственные функции. Соответственно власть на местах старалась ограничивать масштаб земской деятельности. Даже теряя контроль над событиями, самодержавие не готово было сотрудничать с самоуправлением. Как сказал князь Львов на съезде земских деятелей в сентябре 1915 г.: «Столь желанное всей стране мощное сочетание правительственной деятельности с общественностью не состоялось». В декабре 1915 года в Москве проведение Съезда уполномоченных Всероссийского Земского Союза и Союза Городов не было разрешено ввиду вопроса о беженцах, устройство которых хотело взять на себя земство.

Возможно, Толстого ошарашило это запрещение. Теперь Земсоюз выглядел нелояльным, и можно предположить, что Толстой при переиздании очерков не хотел напоминать о своей тесной дружбе с этой организацией. Разумеется, это только гипотеза. Но как бы то ни было, при включении кавказских очерков во второе издание книги «На войне» в 1916 г. Толстой снял в кавказских очерках ссылки на Земсоюз, упоминания о Шереметеве и Львове и т. п. Эта предусмотрительная автоцензура, — если это была она — возможно, предсказала его готовность многим поступиться по возвращении из эмиграции, когда он встраивался в советский литературный процесс.

Другое дело, что и в самих «Русских ведомостях», как видно, не было больше желания посылать Толстого в военные командировки. После марта 1915 и до февраля 1916 года она публиковал где-то по его рассказу (или части рассказа) в месяц. Может быть, газета как-то поощряла его в направлении беллетристики. Это было не так выгодно, как военная командировка, когда публиковалось по 4—5 его материалов в месяц. С другой стороны, мы не знаем, хотел ли он новых военных впечатлений, да еще во время постоянно ухудшавшейся ситуации на фронте.

Какой-то свет на отношении «Русских ведомостей» проливает фраза из переписки Толстого с отчимом в декабре 1916 года: «Мне придется, наверно, много писать в «Русские» Ведомости», но на этот раз фельетоны должны быть более серьезными, как справлюсь — не знаю»<sup>33</sup>. Видимо, редакции профессорских «Русских ведомостей» его кавказские очерки не понравились — то ли своей неуместной бойкостью, то ли излишним эстетизмом. Может быть, показались маловероятными сюжеты вроде гомерических подвигов пластунов, застигнутых турками врасплох на биваке, но сумевших голыми руками и прикладами в полной темноте сокрушить несметную рать. Или же редакцию раздражило восхваление героического повара по имени Манька, совершившего отчаянную вылазку в расположение турок ... за курицей для проголодавшихся офицеров — и вообще многократные упоминания о фронтовых котлетах, вкуснее которых нет ничего на свете. Одной из претензий солидной, праволиберальной газеты вполне могла быть и та, что в корреспонденциях Толстого слишком выпячивалась роль «левого» Земсоюза.

Как бы то ни было, но явно в связи с успехом его военных очерков, в феврале 1916 года по выбору британского посла Толстого включили в состав группы русских писателей, приглашенных с ознакомительным визитом в Англию. Он поехал опять как корреспондент «Русских ведомостей», хоть и не по их инициативе.

---

<sup>33</sup> Переписка Т. 1. С. 267.

«Земгусар». Только в конце 1916 года Толстой снова появляется на Западном фронте. Как явствует из его переписки с отчимом, его собирались наконец призвать: то ли лучевой нерв прошел, то ли отсрочка кончилась. Но каким-то образом вместо службы в армии он попадает на службу в Земсоюз. Писателя официально прикомандировывают к комитету Западного фронта Всероссийского земского союза. Его жена Н. В. Крандиевская вспоминала: «В середине декабря 1916 года Толстой выехал в Минск, в Комитет западного фронта при Всероссийском земском союзе. Вызвал его председатель Комитета В. В. Вырубов для работы на фронте».<sup>34</sup> Толстой сам становится уполномоченным. Ему предстоит ревизовать условия жизни земсоюзовских дружин, действующих на Западном фронте, — контролировать качество жилых помещений, наличие бань и прачечных, работу всего обслуживающего персонала. Базируясь в Минске, он снова колесит по фронту с земсоюзовскими санитарными поездами. Целый месяц никаких его корреспонденций в газете нет. Лишь 17 января 1917 в РВ появляется статья «Из дневника за 1917 год», где подробно и любовно описана деятельность Земсоюза, а центральное место занимает фигура его начальника — и заместителя кн. Г. Е. Львова — Василия Васильевича Вырубова<sup>35</sup>. Жене Толстой писал, что военные впечатления теперь занимают его меньше: «Самое же интересное — это Земский союз — вся организация в работе: это не случайное и преходящее с войной, а новая формировка общества. В. В. Вырубов один из ориги-

---

<sup>34</sup> Н. В. Крандиевская-Толстая. Я вспоминаю. Л., 1977, С. 126.

<sup>35</sup> Вырубов Василий Васильевич (1879—1963) — русский общественный деятель. С начала Первой мировой войны — член Главного комитета Земского городского союза, затем председатель Комитета Западного фронта Всероссийского земского союза в Минске. После февральской революции — товарищ министра внутренних дел Временного правительства (при князе Г. Е. Львове), затем помощник начальника штаба Керенского. В 1918 году вместе с князем Львовым по поручению адмирала Колчака участвовал в переговорах с бывшими союзниками России по Антанте. В 1919 году генеральный секретарь русской делегации на Версальской конференции. Председатель и член Временного все-русского земского союза за границей. В 1921 году был принят в члены парижской группы партии кадетов. Умер в Париже.

нальнейших и замечательнейших людей»<sup>36</sup>. До революции между тем остаются считанные дни, власть уже ничего не контролирует и никто ее не боится. Его работа о Земсоюзе посвящена как раз тому самому вопросу, из-за которого только что запретили земский съезд, — вопросу о беженцах. Она никогда и нигде не перепечатывалась. Поскольку она показывает писателя в новом и неожиданном ракурсе, а также вводит до сих пор малоисследованную тему, есть смысл привести статью целиком.

### Из дневника на 1917 год.

Я приехал на фронт из Москвы, из тыла, истерзанный разговорами о том, что Россия вообще кончается, что нельзя продохнуть от грабежей и спекуляций, общество измызгано, все продано и предано, война будет длиться еще пять лет, а если кончится скоро, то еще хуже, и пр., и пр.

Подобное душевное состояние всем знакомо и осточертело, и мне тоже, конечно. Работать, — писать пьесы и повести, — я больше не мог: до книг ли, когда гроза уже за окнами. Таким я приехал в главную квартиру комитета западного фронта все-российского земского союза.

Первое, что пришлось испытать, — недоумение. На мои вопросы: Скоро ли кончится война? Что вообще с нами будет? Почему отступают румыны за Серет<sup>37</sup> и т. д. мне ответили очень спокойно?

— Не знаем.

— Но если вы ничего не знаете, то как же можно быть спокойным?

— У нас очень много работы, — ответили мне, — нам некогда волноваться по поводу Серета; когда кончится война, — знает Бог, да еще, может быть, копенгагенские<sup>38</sup> журналисты, — спро-

---

<sup>36</sup> Переписка Т. 1. С. 268.

<sup>37</sup> Серет — приток Днестра.

<sup>38</sup> В Копенгагене базировался Парвус, основавший «Институт для изучения причин и последствий мировой войны», в котором работал ряд русских эмигрантов, в том числе М. Урицкий и Я. Ганецкий, и через который велась пораженческая пропаганда.

сите у них; а если интересуетесь знать, пропадет Россия или не пропадет, присмотритесь, как здесь работают, что сделано и что предстоит еще сделать.

Мне предоставили полную волю присматриваться, расспрашивать, рыться в книгах, ездить куда угодно: работа союза должна происходить под стеклянным колпаком — правило первое, И то, что пришлось узнать и увидеть — необычайно.

Помню, в начале войны многое казалось истинным откровением. Появились герои среди обычных обывателей. Впервые, с оглядкой и робостью, было произнесено слово «родина». На улицах Варшавы бросали цветы в сибирских стрелков<sup>39</sup>. Мы пережили небывалый подъем и отчаяние, почти гибель.

Все это минуло. Время романтических боев прошло. Не повторятся ни кавалерийские набеги, ни головокружительные обходы галицийских битв, ни падение крепостей, ни отход на сотни верст. Война стала расчетом, фронт — буднями. Учет сил произведен. Неожиданность может исходить только от злой воли.

И вот на фоне этих будней появляется то новое и прочное, что, возникнув на фоне общей сумятицы и потасовки, крепнет сейчас, организуется, становится национальным предприятием. Я говорю о всероссийском земском союзе.

Иностранцы не понимают, сколько ни толкуй, что такое всероссийский земский союз. Думаю, что и многие русские не дали бы по этому поводу точного ответа. Настолько эта организация единственна, своеобразна и пока еще трудно определима. Во многом она еще в потенции, возможности ее неисчерпаемы.

Прежде всего это — свежая организующая сила. Начавшись с десятка санитарных поездов, эвакуирующих раненых вглубь России, союз строит сейчас мосты, сооружает больницы, ангары, целые городки для рабочих, солдат, беженцев, имеет свои механические мастерские, колонны автомобилей, prepares палатки, телеги, повозки, сани, кухни, упряжь, одежду, обувь, противогазовые маски и т. д. (Я не считаю тыловых предприя-

---

<sup>39</sup> В обмен на помощь в войне Россия обещала русской части Польши независимость.

тий). Имеет свои заводы — химические, мыловаренные, кожевенные, лесопильные и др. Собирает на фронте кожи, металлы, тряпье. Раскидывает повсюду питательные и перевязочные пункты, госпитали, бани и прачечные. Приобретает рудники. Организовав «Земгор» — инженерно-строительные дружины, роет окопы. Наконец, в собственных столовых кормит и обучает грамоте более десяти тысяч беженских детей, по большей части сирот, до которых раньше не было никому никакого дела. И не отказывается ни от одной поставки военному ведомству, в каком бы размере ни было предъявлено требование. Всего учрежденных западного комитета свыше 1500 и ежемесячный оборот их — около 20 миллионов.

В одном западном комитете работают более 100 000 человек. Все новые людские потоки из Финляндии и Владивостока, с Белого моря и Черного, — киргизы, калмыки, финны, буряты, корейцы и проч. — ежедневно вливаются в распределительные пункты союза. Закупщики материалов разбросаны по всей России и за границей. И, конечно, конец войны не может остановить организующих и строительных работ союза, — только изменит их направление, повернет лицом к тылу.

Вчерашние обыватели, присяжные поверенные, помещики, земцы, инженеры, составляют колеса этого небывалого общественного механизма. Каждому дается работа по плечу и в меру таланта. Соединили этих людей живая здоровая любовь к России, здоровый разум и талантливость руководителей. Здесь не место теории и спорам. Человек определяется сразу. Здесь делают дело — будущее России. Здесь образуются новые мускулы. Россия здесь, а не там, в тылу. И каждый здесь чувствует за спиной дыхание многомиллионного крестьянского народа.

## 2.

В арабской сказке рыбак вытаскивает сетями со дна морского медный кувшин, открывает, и оттуда выходит джинн-гений. В крутые времена, когда государство трещит по швам, появляются замечательные люди, и именно так, как в сказке: из-за сорванной крышки на диво (или на страх) рыбаку.

Как будто есть невидимые полномочия (их чувствуют сердцем) — поди и делай. Союз составлен из таких людей. Других указаний у них нет, ни установленной меры, ни рамок, ничего. Все предоставлено творчеству. Величайший искус и опасность. И действительно, здесь экзаменуется народ, есть ли в нем организующие, творческие и волевые силы.

### 3.

Комитет западного фронта всероссийского земского союза возник в феврале 1914 года (ошибка в месяце — должен быть сентябрь или октябрь. — *Е. Т.*) в Варшаве, когда Василий Васильевич Вырубов начал эвакуацию раненых в поездах союза и разброску питательных и перевязочных пунктов. Эта работа приняла крайнее напряжения во время отхода наших войск. Приходилось принимать меры, чтобы вывозить раненых, имущество, и, задерживаясь везде, где только возможно, обслуживать отставших, кормить голодные толпы беженцев. Все это происходило под огнем, в суматохе обозов, при зареве пылающих деревьев и складов. И комитет естественно вырос в огромную организацию.

Собрание уполномоченных фронта составляет комитет, он выделяет управу, члены которой ведают тридцатью отделами. Председательствует и правит всеми делами В. В. Вырубов. Это — человек сгущенной воли. Он всегда напряжен и тревожен. Где бы он ни появлялся, вокруг него, как вихрь, начинается лихорадка работы.

Сегодня он решает — строить дорогу, а часов в пять утра за стеной (в нашем общежитии) я слышу, как он кричит: «Ты глубоко штатский человек, ты не имеешь права говорить «нельзя», у нас должны быть свои мастерские!»<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Еще осенью 1914-го Толстой в своих очерках рассказывал о проблеме городов, захваченных и оставленных противником: там закрывались все производства, многое вывозилось австрийцами или разрушалось. Автор подчеркивал необходимость восстановления фабрик и в особенности железнодорожных ремонтных мастерских, без которых не только страдал транспорт, но и целые города заполнялись обнищавшими рабочими.

После паузы ослабевший голос собеседника возражает: «Откуда же мы их возьмем, что ты, нельзя же, право, так все-таки заноситься». «Должны!» — кричит Вырубов высоким голосом. Засыпая, я слышу целые колонны цифр, затем диктуются телефонограммы.

Это — человек большого роста с военной выправкой, стремительными движениями, широким шагом. На открытом крепком лице — веселые светлые глаза под черными косматыми, точно усы, бровями, и, как всегда в русском лице, вся энергия — в глазах, лбе, круглом черепе<sup>41</sup>. Помню: он входит, как всегда, в военной форме без погон, с портфелем, из-под косматых бровей блестят веселые глаза. Быстро расшаркиваясь, поворачиваясь к одному, к другому, одного схватив за локти, другого загнав в угол к печи, он говорит отрывисто, неожиданно: он только что достал пятнадцать миллионов, и новое предприятие обеспечено: пусть оно кажется невыполнимым на первый взгляд, на то и общественная организация, чтобы невозможное стало возможным.

И приедем из тыла вспоминаются слова: «Есть еще порох в пороховницах, не ослабла еще казацкая сила».

#### 4.

Как я уже упомянул, более десяти тысяч беженских детей кормятся в столовой комитета. С восьми утра и до пяти вечера дети пьют чай, обедают, ужинают, учатся пению, грамоте, играм. Есть столовые в деревнях, расположенные почти в сфере артиллерийского огня. Там дети жмутся к сестрам, как цыплята, и действительно, сестры заслужили такую любовь. Обо всем этом я буду писать впоследствии подробнее. Пусть не оскудеет щедрая помощь тем, кто ни в чем не повинны.

В третий день Рождества мне пришлось мимоходом взглянуть на две елки. На огромной застывшей под снегом площади за железнодорожными путями стоят низкие и длинные домики из фанеры. В дверную щель валит пар. Я вхожу. В полумраке

---

<sup>41</sup> Несомненно, пластика Петра Первого во многом взята Толстым у Вырубова.

почти не видно дальней стены. У досчатых столов сидят дети, толпятся в проходах, ждут елки. В чьей-то поднятой руке горит стеариновая свеча. Все лампы унесли в елочный барак. При неверном свете я разглядываю взбудораженные, взволнованные лица, платки, обмотанные вокруг головы, вихры. Здесь самому старшему девять лет. Дежурная девочка разносит чай, черпая его прямо из ведра жестяными кружками. Чаепийцы кряхтят, дуют в кружки, возятся.

Вхожу в другую дверь: здесь совсем тихо и точно пусто, мигает свечка. И, только вглядываясь, замечаю у стен маленькие мордочки. Этим года по три, по четыре, они ждут спокойно, по большей части все философы.

С елкой замешкались. Наконец, появляются сестры в белых косыночках и говорят: идем. И что тут началось. Через двор по снегу припустились горохом вперегонку, сбились в кучу у широких дверей, подняли писк, едва пролезли.

Елка стояла под самую досчатую крышу, вся в ангелах, яблоках, золотых конях. Сбоку на помосте готовилось представление. Сестры наряжали девочек в бумажные юбочки, в колпачки, одному нацепили бороду. И хоть было холодно — мне, например, и в шубе — все равно наряженные не мерзли.

Представление же я увидал на другой елке. Там в теплой избе устроена маленькая сцена, аршина два в ширину, убранная сосновыми ветвями и бумажными фонариками. Перед сценой куча-кучей, друг на дружке, зрители. Позади сцены стоял хор; сестра подняла руку, и они запели: «Прилетали птицы из-за синя моря, пели они, распевали, — кто у нас за морем больше, кто у нас меньше всех», и т. д. Затем вышли двое — Ваня Луферчик и Миша Павлович: один — в девять вершков росту, другой — немного повыше. Ни на кого не обращая внимания, повернулись они друг к другу носом и стали говорить стихи в один голос. Очень было хорошо. Затем пели, танцевали, и вышел такой маленький человек, что ему никак нельзя было дать больше трех лет. Был он в серой бумазейной рубашке, в таких же штанах, в сапогах и руки держал по швам. Он вышел и низко поклонился, потом еще раз поклонился, и так до шести раз, покуда не собрался с духом и рассказал про обезьяну и очки.

А когда я вышел и вспомнил опять про последнего артиста, мне стало грустно: показалось, будто кланялся он — точно благодарил, что не дали ему помереть с голоду<sup>42</sup>.

Как явствует из этого очерка, даже такое демократическое начинание, как Земсоюз, питалось кипучей энергией одного человека и управлялось совершенно диктаторскими методами своего очаровательного главы.

Вскоре насчет дальнейшей службы Толстого в Земсоюзе возникают совершенно хлестаковские проекты. То Вырубов хочет устроить авиаремонтные мастерские и Толстой должен поехать куда-то изучать деревянные запчасти аэропланов; то его собираются отправить в киргизские степи (не иначе как как уроженца этих самых киргизских степей) — чтобы исследовать быт киргизов, которыми на фронте почему-то заинтересовались. Сам он явно больше всего хочет вернуться в Москву, где вот-вот должна была родить жена, добивается отпуска и поспекает туда как раз вовремя — к Февралю. Следующие корреспонденции Толстого в РВ — очерки «Первое марта» и «Двенадцатое марта» — это уже восторженные зарисовки ранней революционной эйфории. Затем сотрудничество с газетой прекратится.

В парижской эмиграции Земсоюз будет вначале помогать ему деньгами, выделяя их на его журнальные и издательские проекты. Но позднее, когда печатью Земсоюза станет заведовать Полнер, деньги тот давать ему перестанет и печатать его откажется<sup>43</sup>: Толстой для него — чересчур правый.

**Критические отклики.** В VI томе Толстой на первое место поставил «Поездку по Англии», а военные очерки начал с цикла «На Кавказе» — т. е. расположил материал в обратном хронологическом порядке. Он угадал, что новые кавказские публикации окажутся привлекательнее для читателя, чем уже печатавшиеся в книге статьи 1914 года.

---

<sup>42</sup> Русские ведомости, 17 января 1917. Опора на это описание елки чувствуется в сцене елки в «Детстве Никиты» — здесь даже больше любви и нежности к детям.

<sup>43</sup> *Е. Толстая. Деготь или мед.* С. 446—453.

Его военные очерки и рассказы критике в основном нравились: Ал. О<жигов> (псевдоним А. Ашешова) писал в рецензии на первое издание книги «На войне», что Толстой остался «цельным и вдумчивым художником», в котором «нет шовинизма и опьянения жутко-сладким вином войны, нет развязности и бахвальства, нет националистической слащавости и приторности»<sup>44</sup>.

По словам рецензента, «автор ищет того нового, что приносит с собой война Руси». Он «улавливает эти душевные сдвиги и уже конкретно говорит о самоочищении русской души в смысле нового самопознания, нового утверждения личности и ее достоинства» Правда, в отличие от автора, социал-демократ Ашешов считает, что подобные сдвиги — результат не столько военной бури, сколько следствие того, что он называет мирным развитием страны после 17 октября 1905 года.

Все критики отмечают, что очерки Толстого запечатали слишком много внешних впечатлений и слишком мало места уделяют психике. Но одновременно эти рецензенты переносят внимание именно на то, что свидетельствует об обратном. Так, критик Вл. Кранихфельд в «Киевской мысли» фокусируется на толстовском сопоставлении между войной и театром:

Поражаясь «невероятной пропастью между *здесь* и *там*» [гр. Т.] <...>проводит параллель между *театром* как зданием, где даются трагические представления, с одной стороны, и между *театром* военных действий. „Трагический театр, говорит автор, — низводит нас до конца, до крайней мысли перед вечной темнотой и затем оставляет нас жить, обогащенных опытом смерти. Там же, на войне, этот опыт дается каждому наяву, и так же, как трагический театр, но только в тысячу раз сильнее обогащает человека” (стр. 80—81).

Этому сопоставлению нельзя отказать в остроумии. Продолжая его дальше, автор точно так же не без остроумия проводит параллель между трагическим актером на сцене и воином на полях сражений. И тот и другой переживают вторую жизнь среди обычного существования, жизнь фан-

---

<sup>44</sup> Ал. О[жигов]. Современный мир. 1915. Кн. 2. Цит. по московскому журналу «Бюллетени литературы и жизни», № 20. 1916. С. 536.

тастическую, вспыхивающую лишь на короткое время, но безмерно выпуклую и яркую. Затем, обогатившись опытом, они возвращаются в обыкновенную жизнь, которую воспринимают с жадностью, радуясь тому, мимо чего прежде прошли бы с презрительной усмешкой. „Опыт же их прежде всего отрицает смерть как последнюю и самую страшную угрозу. Смерть (о ней помнят и часто поминают) есть лишь неудачная случайность, и на ней никто ничего не строит, никаких своих действий ни здесь, ни там; об убитых товарищах говорят так же просто, как о проигравшихся в карты” (стр. 82)».

Именно это место выделяют у Толстого критики как оригинальное и художественное:

Смерть — случайность, — таково заключение всех, кто эту смерть видит ежечасно. Казалось бы, это парадокс: нельзя называть случайностью то, что с холодной правильностью точного закона уничтожает людей. Но человеческая душа боится себя от страха таким самогипнозом или привычка создает софистическую логику, но факт тот, что смерть опрокидывается в сознании сражающихся, как случайный фактор, как каприз комбинации больших чисел.

И в то же время душа воина страшно радуется жизни, когда она выходит из тесного мира окопов. Делаются все лучше, приветливее, точно близость смерти научила их бережно относиться к жизни и уважать ее <...><sup>45</sup>

Очерки Толстого нравились и московскому религиозно-философскому кружку. Аделаида Герцык писала М. Волошину 4(17) ноября 1914: «Пра посылает Вам корреспонденции Алексея Толстого. Они оч[ень] хороши»<sup>46</sup>. За рассуждением о трагическом театре можно почувствовать ивановский дух: мы знаем, что после переезда в 1912 году Москву вслед за Ивановым Толстой продолжал посещать его и в особенности сблизился с

---

<sup>45</sup> Вл. Кранихфельд. Киевская мысль. 1915, № 48. Цит. по Бюллетени литературы и жизни. 1916. № 20. С. 535.

<sup>46</sup> Сестры Герцык [Е. К., А. К.]. Переписка. М. 2003. С. 155. — Цит. в Толстая Е. «Деготь или мед»..., С. 36.

ивановско-бердяевским кружком в конце 1914 г., во время романа с Крандиевской<sup>47</sup>.

Но его кавказский цикл стоит все же особняком. Он произвел на всех сильное впечатление, наверное, потому, что читатели наслаждались этими очерками. Солдатская доблесть описана здесь с немислимыми преувеличениями, но рассказывается о ней совершенно аутентичным солдатским говорком — не поверить невозможно. Трудности почти непреодолимые — пушки надо втаскивать на два километра вверх по лесной круче, утопая в жидкой грязи, — но надо всем высятся изумительные горы, которые настраивают на торжественно—задумчивый лад. Толстой искусно вписал военные ужасы в пейзаж немислимой красоты — в пейзаж, расцвеченный лиловыми цветущими рододендронами и желтым дроком, синий от фиалок, благоухающий лавровишней. Обогащает рассказ и то, что земля древняя, обставленная древними башенками и мостиками, за которыми угадывается античность. А в промежутках между эпическими подвигами солдаты и офицеры так аппетитно пьют и едят, так захватывающе рассказывают, так тесно сдружились, что нельзя не почувствовать вместе с ними, как они счастливы, — вот она, настоящая жизнь. Толстому повезло — на этот раз он наблюдал (правда, с периферии и до начала больших успехов, которые обозначились к концу 1915 года, со взятием Эрзерума) ту единственную кампанию, которая покрыла славой русские войска и даже подала миру надежду на перелом в войне.

Именно в одной из кавказских корреспонденций Толстого Вячеслав Иванов прочел вдохновившую его фразу о том, как пароход выходит в море из устья реки. Он дал ее эпиграфом к своему стихотворению «Дельфины»:

«В снастях и ряях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья.... Из-под самого пароходного носа стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали

---

<sup>47</sup> Там же.

дугу и вновь погружались без всплеска<sup>48</sup>. (А. Н. Толстой, «Письма с пути»).

Ветер, пахнувший снегом и цветами,  
Налетел, засвистел в снастях и реях,  
Вырываясь из узкого ущелья  
На раздолье лазоревой равнины.  
Как Тритон, протрубил он клич веселья,  
Вздых весенний кавказского Борей,  
Вам, курносые, скользкие дельфины,  
Плясуны с кругогорбыми хребтами.  
На гостины скликал вас, на Веснины,  
Стеклоокого табуны Нерей,  
С силой рвущийся в устье из ущелья  
Ветер, пахнувший снегом и цветами<sup>49</sup>.

Как видим, и показ «скользких», «крутым побегом» выскакивающих наружу (у Иванова — «кругогорбых») дельфинов, и тема выхода ветра на свободу из ущелья реки в море взяты здесь из очерка Толстого. Иванов опустил только начало второго предложения — «Из желтоватой воды»<sup>50</sup>: реалистическая желтоватая вода Толстого здесь убрана, наверно, потому, что она слишком контрастировала с ивановской символической лазурью.

Чуковский говорит в своем мемуарном очерке: «В 1913 году Вячеслав Иванов написал стихотворение „Дельфины“, к которому взял эпиграфом отрывок из толстовских „Писем с пути“. Отрывок начинается так: „В снастях и реях засвистел ветер, пахнувший снегом и цветами“. Этот отрывок так понравился Вяч. Иванову, что он целиком перенес его в свое стихотворение:

Ветер, пахнувший снегом и цветами,  
Налетел, засвистел в снастях и реях... и т. д.

---

<sup>48</sup> А. Н. Толстой, «Письма с пути». Письмо XXIII. Русские ведомости, 11 марта 1915 г.

<sup>49</sup> Вяч. И. Иванов. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 503—504.

<sup>50</sup> А. Н. Толстой. Сочинения. Т. 6. Изд. второе, дополненное. Книгоиздательство писателей в Москве, 1916. С. 102.

Стихотворение помечено мартом 1913 г. Напечатано в „Невском альманахе“, 1915...»<sup>51</sup>. Выходит, что и у Иванова, и у Чуковского оно датировано анахронистически — раньше 1915 года процитированные стихи появиться никак не могли.

\* \* \*

Работа военным корреспондентом «Русских ведомостей» упрочила литературный статус Толстого: вслед за очерками он напечатал в той же престижнейшей газете полдюжины рассказов. Его дар визуализации усовершенствовался в кавказских описаниях войны среди снега и цветов, в весеннем горном лесу. Здоровый инстинкт привел его в среду интеллигенции, пошедшей добровольно служить воюющему народу — не крушить, а строить новое общество. Он внимательно описывал этот новый тип людей с их хозяйским, творческим, ответственным отношением к жизни. Можно надеяться, что этот обойденный и оболганный в советский период эпизод русской истории получит, наконец, достойную оценку у потомков, сейчас решающих во многом сходные задачи.

## Алексей Н. Толстой НА КАВКАЗЕ

### 1

*Февраль 1915 г.*

Вдалеке, за ровным белым пространством, сиял горный хребет; жаркое солнце стояло высоко; небо синее — весеннее, и вершины далекого хребта кажутся точно выкованными из серебра. Поезд прошел Минеральные Воды, и к полудню вдруг кончилась зима. На равнине извивались речки, стояли камыши, стога, кустарники, по черным дорогам тянулись арбы на буйволах, и горы с правой стороны стали синее неба, у подножия их стелилось облако испарений. Попозже солнце залило их золотой

---

<sup>51</sup> Корней Чуковский. Собрание сочинений. Т. 5. С. 261. Прим. 3.

пылью, потом, к склону дня, они стали оранжевыми, багровыми и скрылись, когда закатилось солнце. И все это время, не отдаляясь, выше всех горела разным светом двойная вершина Эльбруса.

Сосед по купе — полковник — рассказывал про жизнь в этих горах пастушеских племен — карачаев, сванов, кабарды<sup>52</sup>. В южных крутых склонах выдолблены большие пещеры, в них от грозы, града и на ночь загоняются стада. Пастухи, уходя вглубь, по многу лет не видят своих аулов, куда нужно попасть, перевалив иногда четыре снежных перевала. Живут в пещерах, прикрытых берестой, устланных сухими листьями; частые стремительные грозы губят стада, не успевшие скрыться. Иногда в ливень и град можно видеть, как по вздувшейся речке плывут черной кошмой утонувшие бараны. Из-за гор приходят абхазцы и крадут коней и быков.

Однажды полковник и его помощник, работавшие с казаками по съемке главного хребта, были приглашены на соседнюю гору есть корову к абхазцам. Полковник с помощником пошли поели, легли на кошме над пропастью; в сумерках пришли два пастуха; абхазцы им тоже дали поесть коровы; наевшись, пастухи начали спрашивать: «Абхазцы, вы у нас двух коров украли?» — «Нет». — «Побожитесь». — «Ей-богу». — «А может быть, вы?» Наконец абхазцам надоело. «Мы твоих коров украли, одну в Тифлис продали за пять туманов<sup>53</sup>, другую сам сейчас кушаешь, а шкура на сучке висит». — «Мы на вас в суд подадим». — «Вот что: хочешь кушай, хочешь — убирайся к черту». Пастухи подсели к полковнику, стали жаловаться. «Как вы, рожденные рабынями, посмели меня оскорбить», — ответил им полковник, — я здесь кушал, я гость, как я могу судить моих хозяев, за кого меня считаете! Я должен позвать казаков и сбросить вас

---

<sup>52</sup> Карачаевцы, кабардинцы — высокогорные тюркские народы, живут в Карачаево-Черкесской, граничщей с Абхазией, и Кабардино-Балкарской республиках. Сваны — народность, родственная грузинам, говорят на языке картвельской группы. Живут в Сванетии на северо-западе Грузии, а также в Кодорском ущелье в Абхазии (т. н. *Абхазская Сванетия*).

<sup>53</sup> Туман — иранская денежная единица, 10 риалов.

под скалу за оскорбление, но, между прочим, я вас прощаю, уходите скорей...» Таковы обычаи в горах.

О предгорных местечках я прочел в местной газете приблизительно следующее: «Война! А у нас как было много лет назад. Вон там изо всей мочи дуют в зурну<sup>54</sup> и пляшут себе по щиколотку в грязи. Тут сидят и обсуждают, почему Магаме<sup>55</sup> выдано из кредитного товарищества семьдесят пять рублей. Вот выполз из-за своих банок аптекарь и глядит, куда это мог бы идти начальник почтового отделения.

Около участкового начальника — обычные просители и пара оседланных лошадей. Тихо у нас и очень грязно. Вот уже сколько времени курица старается перейти улицу и не может. Мы читаем газету — я и он. Ба! Один турецкий корпус уничтожен, другой почти тоже, третий взят в плен. «Ого», — говорю я. «Ого», — повторяет он. Я спешу рассказать об этой новости кому-нибудь из ближайших соседей. Они отвечают лишь удивленным восклицанием: «Ва-а!» Вот и все».

Ночью подходим к морю. Ночь звездная, темная; сильный мокрый ветер пахнет гниющими водорослями; у самой насыпи, освещенная летящими окнами, возникает пена из черной воды. На станциях глухо гудит море... Под Дербентом из земли пылают вечные огни<sup>56</sup>.

Весь последний день едем на запад по необъятной, плоской и пустой равнине. Кое-где на ней стадо баранов или буйволов, иногда покажется всадник в папахе и бурке. Вдали, направо, сливаются с небом горы; уловимы только их сияющие вершины, точно длинное, без конца, свернутое облако над землей. Земля здесь плодородна, родит хлопок и рис, но мало воды; к юнгу равнина стоит выжженная и пустая; стада и люди уходят в горы.

С опозданием на час приезжаем в Тифлис. Обдав меня запахом чеснока, носильщик схватил чемодан, протолкался сквозь

---

<sup>54</sup> Зурна — флейта с раструбом, инструмент, широко распространенный в Индии, Средней Азии, на Кавказе и Ближнем Востоке.

<sup>55</sup> Магама — мусульманское личное имя.

<sup>56</sup> Дербент — город на западном побережье Каспийского моря. Один из древнейших городов мира, контролировал проход с Кавказа к Каспию. Вечные огни — нефтяные скважины или выходы подземного газа.

толпу солдат, горцев, всякого и по-всякому одетого галдящего люда и посадил в парный экипаж. Извозчик, молодой толстый армянин, повернул ко мне маленькую голову, обдал запахом чеснока и спросил:

— Куда тебя везти?

## 2.

Я никогда не видел большей суетолки, чем на тифлисском вокзале 5 февраля, хотя в этот день ничего особенного не случилось, если не считать некоторых возвращающихся беженцев.

В залах нельзя было протискаться. У кассы стоял красный жандарм; видно, как прыгали его усы, открывался рот, но голоса не было слышно; здесь же человек, похожий на Авраама, со сладкими глазами, молча показывал коробку с явно дрянными папиросами. Лакеи с тарелками кидались в тесноту и пропадали. Когда же разрешено было садиться, из зал на перрон вывалилась толпа, крича на девяти языках, и облепила вагоны; на площадках, отбиваясь от лезущих, громче всех кричали кондуктора, махая фонарями.

Таковы здешние нравы: если можно, например, постоять, — человек стоит столбом до последней крайности, после чего начинает безмерно суетиться, будто ждет его величайшая опасность.

Я с трудом занял место. Проводник, косматый старичок с обмотанной шеей, появлялся то на передней, то на задней площадках, выпихивая лезущих отовсюду восточных людей, и ругался при этом, как старая собака, беззвучным хрипом. Пробежал армянин, громко плача, — у него только что украли деньги. Появился контролер. Сказал проводнику громким и явно фальшивым голосом, что, мол, начальник движения что-то там разрешил. И проводник сейчас же всунул в вагон четверых зайцев, взяв с них по рублю. Подошли солдаты, говорят проводнику: «Земляк, подвези». — «Никак не могу, проходите». — «На чай тебе дать, тогда сможешь, крыса». — «Я тебе сам на чай дам, эх ты, голый!» — «Это я голый? — обиделся солдат. — А в ухо не хочешь?» Поезд вырвался, наконец, из всей этой толкотни. Два

паровоза, дымя и свистя в темноте, потащили набитый людьми поезд на снежные перевалы. Контролер появился опять, и началось странное: двое пассажиров сейчас же заснули, лицом к стенке — их так и не могли добудиться; третий, подняв воротник, пролез мимо контролера в уборную, где и заперся совсем. «А, вы из Карповичей? Всех Карповичей знаю», — сказал кондуктор четвертому и забыл спросить билет. Ко мне в купе на каждом полустанке стучались, чего-то требовали, старались кого-нибудь впихнуть, пока я не закричал в щелку, что начальник дороги — мой ближайший друг; тогда оставили в покое.

Тоннели и снежные перевалы мы проехали ночью, теперь же двигались по неширокой долине, мимо садов, чайных плантаций, небольших домиков на столбах; было тепло, влажно и так тихо, что дымки отовсюду поднимались не колыхаясь. На станциях, затянутых ползучим виноградом, окруженных большими плакучими деревьями, выпрыгивали из вагонов смуглые оборванцы в башлыках, останавливались в гордых позах, глядели на все это — на снежные неподалеку горы, на двух буйволов, запряженных в арбу, — и точно через глаза оборванцев прямо в них переливались вся тишина, вся эта красота; раздавался звонок — они не слышали; поезд трогался, тогда сразу, крича и толкаясь, лезли они обратно в вагоны, цепляясь за ручки, наводили ужас друг на друга оскаленными зубами.

На площадке, отворив дверь, сидел на откидном стульчике офицер: лицо у него было узкое, в морщинах, обветренное до красноты; на багровом носу — пенсне; отмокшие в утренней сырости усы висели. Он подмигнул на оборванца в башлыке и сказал мне:

— Сидит этот где-нибудь на горе, натаскает земли на голые камни, кукурузу посеет и сыт, — больше ему ничего не надо, только разве подраться. Теперь они все спокойны. А когда турки к самому Батуму подошли — большое было волнение; вся Аджария на турецкую сторону перешла; получилось глупейшее положение: турок отбросили, и у аджарцев ничего, кроме винтовки, не осталось; гляди с горы на свою деревню, — а уж вернуться нельзя. Да что аджарцы — эти в горах одичали, — сма-

нить их было нетрудно; турки как в ловушку попались — сами на себя петлю надели. Видел я их под Сарыкамышем<sup>57</sup>: такое впечатление, будто их на убой гнали сорок дней по снегу. А снега там, — он кивнул на юг, — мягкие, глубокие, рассыпчатые; на перевалах — стужа, метели; турки шли, и после них в снегу коридоры остались; по этим коридорам их и погнали обратно. А скоро таять начнет — еще хуже: такой поднимется смрад и зараза, — не приведи бог; где было сражение, где не было — везде валяются мороженые турки; чуть его ранят — отползет, помощи никакой, и замерзнет. Есть места — в пять рядов лежат. Жечь их собираются, только неизвестно, как наши мусульмане на это дело посмотрят, у них жечь не полагается. Да, помню, раз под вечер, я чуть с ума не сошел.

Поезд повернул, и с правой стороны открылось Черное море, серое под серыми лучами; соленый теплый ветер всплескивал пену иногда до самой насыпи; на скатах зеленела вечная трава и лианы; пальмы свешивали широкие листья через изгороди из серого камня.

— Наткнулись они под Сарыкамышем всего на три наших нестроевых батальона, — продолжал офицер. — Наши видят, сила, побросали инструмент и начали в турок палить из чего попало, а ночью в штывки. И задержали их до тех пор, пока мы не стянули войска и обошли неприятеля, вместо чем самим в ловушку попасть. В такое отчаяние турки пришли, что лезли под огонь и на проволочные заграждения, как муравьи. Вот извольте поглядеть сюжет.

Офицер протянул мне фотографический снимок; я увидел кучу тряпок, полузанесенных снегом каких-то предметов, затем различил торчащие руку, ногу, застывшее лицо.

---

<sup>57</sup> В декабре 1914 — январе 1915 в ходе Сарыкамышской операции русская Кавказская армия остановила наступление турок под командованием Энвера-паши на Карс, а затем и наголову разгромила их. Командовал ей вначале А. З. Мышлаевский, неправильно оценивший ситуацию и потребовавший отступления, а после его отставки — Н. Н. Юденич. В феврале-апреле 1915 года бои имели локальный характер, так как обе армии проходили переформирование. Именно эти стычки описывает Толстой. К концу марта русская армия очистила от турок южную Аджарию и всю Батумскую область.

— Здесь их человек двести, около проволок, — метлой снег обмели немножко и сняли. У меня пулеметная команда, — в самое время мы успели в Сарыкамыш, к разгару боя; выгрузились и засели; видите вон то ущелье; примерно так же и там сел я за горкой, а полевая наша стояла, скажем, за теми холмами. Турки же переваливали с хребта, и проходить им надо было через ущелье, где каменный мостик. Пулеметное искусство, надо вам сказать, заключается в том, чтобы видеть свой пулемет насквозь, и если он откажет — перестанет работать, в ту же минуту догадаться, — от какой это произошло причины. А причин у него — двадцать четыре. И ставятся они поэтому попарно: один отказал, другой продолжает.

Повалили турки через хребет, ружья вниз побросали и стали сами скатываться. Я открыл огонь, а за мной — артиллерия. Все остались лежать на дне. Сейчас же — смотрю — вторая партия лезет. Видят, что полон овраг набитых, все равно галдят, прыгают вниз, как черти. И с этими покончили, — дождиком из пулемета окатили — готово. А уж потом повалили они сплошной массой; и так до самой темноты. Чувствую — не могу больше убивать; такое состояние, точно волосы дыбом становятся. Слава богу, настала ночь; на завтра мы их окружили, стали брать в плен.

Вам известно, конечно, как один капитан с полутора ста пластунами захватил турецкий батальон, пашу, пушки и обоз; пошел на разведку, долез до хребта, видит — лагерь; часовых снял, пластунов с трех сторон расставил, сам к паше явился, говорит: «Так и так, сдавайтесь, окружены, силы у нас огромные, артиллерия и пулеметы; саблю можете оставить при себе». А когда привел всех к нашему генералу да рассказал, как было, паша даже плюнул — так рассердился. «Шайтан, капитан», — говорит.

Наколотил я турок в ущелье до самого мостика. Занесло их снегом, а через недельку нижние, должно быть, начали гнить, газы пробились кверху, сквозь снег; образовался в некотором роде вулканчик. Так я, знаете, этих гор одно время видеть не мог

и чаю не мог пить — противно<sup>58</sup>. А здесь — благодать, весна, с удовольствием а одной рубашке хожу, недели через две купаться можно. Прощайте, мне здесь...

И он выскочил на предпоследнем разъезде перед Батумом, весело поглядывая на пестрых сизоворонок, с криком взлетающих над зеленеющими тополями.

### 3.

В Батуме мне пришлось зайти за пропуском на позиции к знаменитому генералу Л., так на шумевшему в свое время в Персии.

Я позвонил у одноэтажного домика, где в пустой передней сидел скуластый денщик, внушающий уважение. Он ввел меня в светлый просторный кабинет. В углу прислонены высокие знамена в чехлах.

У стола стоял стройный широкоплечий человек в серой черкеске с костяными патронами и с костяной ручкой кинжала на черном поясе — генерал Л.

Он внимательно оглядел меня; его лицо с раздвоенной русой бородкой, с небольшими усами над правильным твердым ртом, с глазами холодными и серыми было чрезвычайно красивое и жуткое. Такие лица запоминаются навсегда; в них, как на камне, отпечаталась воля, преодолевшая страсти. Генерал спокойно выслушал меня, затем сказал: «Увидите на месте сами вверенные мне войска, каждый день мы продвигаемся вперед. Везде, где возможно, я даю место молодым. Честолюбие молодого офицера — в храбрости...» Он не окончил, денщик доложил о каком-то полковнике в отставке. Генерал дотронулся до моего рукава, прося остаться, и встал навстречу толстому человеку в штатском длинном сюртуке и с лицом благородным, но несколько наклоненным от почтительности к плечу; не доходя трех шагов, он приложил одну руку к животу, другую отвел в сторону и еще почтительнее склонился; я видел, как генерал, окинув его глазами, смотрел теперь только на его руки, пухлые,

---

<sup>58</sup> Видимо, он представлял себе, как тает этот зараженный снег и эти ручейки вливаются в реку, откуда берут воду для питья.

белые, театрально повертывающиеся в манжетах. Объясняя свое дело (отставной полковник судился, просил пропуск до какого-то села, чтобы взять нужный документ, и настоятельно предлагал свои услуги в качестве честного и опытного офицера), он водил одной ладонью возле сердца, между прочим его не касаясь, другую же держал на отлете, все время вывертывая, желая подобной неестественностью доказать полнейшую свою готовность ко всяким услугам.

На середине его речи генерал сел к столу, написал и подал ему пропуск и глазами указал на дверь. Полковник, кланяясь, поспешно выпятился. — Подобных сотрудников у меня быть не может, — сказал генерал. Но денщик опять перебил, доложив, что с позиций прибыл капитан Н. с запечатанным конвертом. Вошел капитан, молодой, загорелый, спокойный и бесстрастный; слегка поклонившись, он подал большой конверт с пятью красными печатями и, после приглашения, сел, глядя на носки грязных своих сапог. Генерал быстро сломал печати, прочел донесение и вежливо, как равному, отдал приказание. Капитан поднял умные черные глаза, наклонил голову и вышел, не сказав ни одного слова.

Выйдя из Батума, шоссе дорога загибает в ущелье, начинает подниматься все круче и выше над рекой и лепится затем по отвесным обрывам, на страшной высоте, огибая все неровности, то опускается к подножиям гор, то вновь взлетает до маленьких облаков, цепляющихся за деревья.

Автомобиль, ловко повертываясь над обрывами, забирается все выше. Противоположные скаты гор исчерчены низкими каменными изгородами; кое-где за ними — сады или заплатка кукурузного поля. Кое-где — домики, часто в два этажа, крытые черепицей, деревянные или из красноватого камня. Попадают небольшие поселки. Но нигде не видно ни человека, ни скрипящей, арбы; за изгородами воет одичавшая собака, да на крыше стоит старый, негодный для варева козел с веревкой на шее.

Весь этот край брошен; аджарцы сидят в горах, не жалея патронов; в занятых нами ихних окопах медные гильзы можно выгребать лопатами.

С каждым поворотом дороги впереди открывается узкая, извилистая, синяя перспектива ущелья. Иногда стоящая над водой острая горка увенчана круглой башней с остатками стены; сбегающей к воде. Внизу, через водопад, переброшен аркою древний тонкий мостик.

У самой воды по скалам вьется железная труба нефтепровода. Легкий теплый ветер пахнет цветами лавровишни. Из-за камней над головой свешивается желтая ветвь цветущего дрока. Повсюду в зеленеющей траве — фиалки и барвинок. Мы спускаемся, на повороте обгоняем двухколесную арбу, запряженную буйволами. Черные животные поворачивают к нам высоко поднятые морды и смотрят приветливо, словно хотят сказать: «Ду-у-у-шенька!»

Внизу, у реки на зеленой отмели, между изгородами и домиками, стоят белые палатки и поднимается дым; пасутся лошади, прохаживаются солдаты; стоят две пушки на зеленых лафетах, а подальше, вдоль воды, — брезентовые двуколки, с красным крестом, и опять палатки, дым и лошади, — здесь лагерь, штаб отряда и Красный Крест, а выше — в крутых зеленых склонах горы, в непроходимой чаще рододендронов — гниют турецкие трупы. Мы спускаемся в лагерь. Всю долину закрыла вечерняя тень; слышны веселые голоса, лошадиное ржание. Мой спутник, мировой судья, развертывает здесь новый питательный пункт, и для этого ему надо переговорить с генералом М. По пути нас останавливает военный доктор, спрашивает, где мы ночуем.

Мы входим в просторную, высокую мечеть; посреди ее разбита палатка командующего. Сам генерал сейчас сидит за некрашеным столиком у окошка; на нем — солдатская шинель и картуз с большим козырьком; лицо краснощекое, чисто выбритое, с седыми усами, — французского типа; перед ним — тарелка с борщом, ломтики черного хлеба и оливки на блюдечке. Напротив, у другого столика, за телефоном сидит адъютант в поношенном полушубке. Сейчас, очевидно, минута затишья, донесений не поступает, приказания уже все посланы, на правом фланге, у моря, мы занимаем одну высоту за другой, мино-

носки обстреливают Хопу<sup>59</sup>. В двенадцати верстах отсюда артиллерия сдерживает густо насевших турок. Генерал и адъютант его мирно беседуют. Генерал встречает нас радушно, предлагает борща и чесноку, рассказывает, что наши разведчики только что видели на левом фланге восемь человек офицеров в прусских шинелях и касках. Я спрашиваю, много ли среди неприятельских войск немецких солдат.

— Солдат нет, — говорит генерал, — а немецкого полковника одного наши солдаты недавно закололи, — вот здесь. — Он указывает пальцем за окно на зеленую гору. — Да, знаете ли, уж такое мое занятие, сидеть в узле телефонной сети. А полазил бы я по горам, подрался; завидую молодежи, так, пожалуй, за всю войну ни одного турка и не увидишь.

Зазвонил телефон.

— С наблюдательного пункта, — сказал адъютант, — турки очищают деревню.

— Продолжать обстрел, — ответил генерал через плечо.

Адъютант передал приказание на пункт и в батарею и подошел к нам.

— Завтра утром на позицию поедете, — сказал он, — все-таки поостерегитесь. Ночью был туман, турки спустились к самым нашим цепям. Увидите сами — любопытное зрелище; пока заряжают пушку, наводят, дают огонь, ничего на горе не видно, а после выстрела сейчас же показывается где-нибудь усатая рожа и по всей горе — «батум», «батум», «батум» — затрещат ихние винтовки...

#### 4.

В сумерках маленькие облака сползли с гор, оказались сырыми серыми тучами, заволокли узкую долину, осели над водой и заморосили.

Из лагеря мы повернули назад и версты через две оставили автомобиль около брошенной прежним хозяином корчмы, где догадливый грек уже раскинул мелочную лавочку, повесив

---

<sup>59</sup> Маленький приморский городок в Турции недалеко от грузинской границы, по другую сторону которой находится Батуми.

перед дверью керосиновый фонарь, зыбкий и желтый сквозь дождевое облако. Покричали перевоз и спустились, точно в погреб, к шумным волнам Чороха<sup>60</sup>.

Отсюда на ту сторону перекинут стальной канат; на нем на блоке и цепи ходит большая лодка, двигаясь быстротой течения в ту сторону, куда повернут ее нос; два матроса, молчаливые и суровые, день и ночь перевозят здоровых и раненых.

На той стороне мы отыскиали по светящимся в тумане окнам двухэтажный дом, где жили до войны пограничные чиновники; на каменном крыльце стоял толстый врач, расставив ноги, заложив руки, смотрел на дождик. «А, судья, с инструментами, яблоками и мармеладом», — сказал он. И мы взошли наверх в светлые, обшитые тесом комнаты. Из дверей выглянули сестры, радостно закивали головами; в небольшой столовой у окна сидела за столом строгая худая дама, старший врач лазарета, хирург, — «настоящее сокровище». Ее трудами был оборудован этот госпиталь, куда с гор и перевязочных пунктов стекаются раненые, моются в бане, перевязываются, едят и, если не нужна спешная операция, отправляются на другой день в батумские госпитали.

Она провела меня по всем палатам, попросила бородатого солдата рассказать, как он был ранен. Солдат, с черной ручищей на перевязи, сел на койке, принялся рассказывать одну из тех немудрых историй, удивительных своей простотой и наивным мужеством, в которой рассказчик хорошо не знает, чему, собственно, господа дивятся: не тому же, что он, раненный и окруженный турками, словил одного за шиворот и, отбиваясь, так его и не выпустил, представил командиру.

Затем она подошла к койке у окна, нагнулась над больным казаком; казак, похожий на сына Иоанна Грозного, умирал, часто со стонами и вздохами дыша, перебирая по одеялу пальцами. «Часа через два — кандидат наверх», — сказала врач и нежно провела рукой по его лбу. Он же, подняв сухую губу, обернулся к ней, трясая головой, точно смеясь.

---

<sup>60</sup> Чорох — горная река в Турции и Грузии, впадает в море около Батуми.

Затем доложили, что внизу, в конторе, дожидаются новые раненые. Они сидели на лавке, держа грязные винтовки: курносый, страшно возбужденный мальчик-доброволец, низенький мужик, заросший, как леший, и длинный, унылый солдат.

Мальчику ужасно хотелось поговорить; леший попросил чаю. На вопрос, много ли турок, «как черви лезут», — ответил он равнодушно. Унылый солдат молчал. Его спросили: «Ты ел?» — «Нет». — «Есть хочешь?» — «Ну да, хочу», — и принялся есть из мисочки вкусную похлебку, осторожно вытирая каждую ложку о хлеб, чтобы капелька не упала; мальчик-доброволец, наконец, добился внимания, принял геройский вид и стал рассказывать, как их ползло семь человек к окопу, как из окопа все высовывался турок с вот такой мордой и глаза — во, как турку они застрелили, закричали «ура», побежали в окоп, и он, мальчик, первый захватил у мордастого ружье.

Вскакивая, ко всем повертываясь, он показывал старинного образца винтовку; губы его дрожали — так был счастлив, что ходил в штыки и убил настоящего турка.

Попозже в столовую, где мы сидели у самовара, вошел давешний доктор; он верхом прискакал из лагеря; был весь мокрый — папаха, худое лицо, усы, шинель.

— Вот и я, — сказал он, стаскивая с себя верхнюю одежду, — два раза чуть не слетел с лошадей в Чорох, такая чертова темень. А у вас — самоварчик. Не прогоните?

— Гляжу я на вас, — обратился он ко мне, — завтра можете взять и уехать в Ташкент, вы — чудо, а не человек.

— Нашли куда ехать, — сказал доктор, — я понимаю — в Москву, а у вас в Ташкенте — пиндинка<sup>61</sup> и пыль и ничего хорошего.

— Пиндинка! — восторженно закричал он. — Верно, у меня на ноге была и на носу. А пыли такой нигде больше нет. Знаете, когда война кончится, — я не сразу туда поеду, а морем чрез Одессу и Петроград, чтобы удовольствие продлить. Я оттуда двадцать четвертого июля уехал и тогда же в последний раз

---

<sup>61</sup> «Пендинка», пендинская язва, ашхабадская язва, болезнь Боровского — среднеазиатская кожная болезнь, переносимая москитами, возбудитель которой живет на сусликах.

в моей жизни напился. Теперь предлагайте — не хочу, а выговорите: чудес нет, — эге! Так же приятель мой, сотник Иванов, видели? Чудовище! В дверь эту ни за что не пролезет. Начнет, бывало, баранину есть — смотреть жутко: ножищем отвалит кусок, намажет горчицы полбанки и ест, проклятый. Соответственно этому и пил; а сейчас, смотрю, шестой месяц трезвый; я ему: «Сотник, да что с тобой?» — «Не могу, говорит, война совсем меня от вина отшибла». Вызнаете, как он третьего дня позицию занял? — доктор засмеялся весело. — Послали его с сотней занять такуюто высоту; долезли они туда только ночью; видит — окоп, неподалеку, шагах в трехстах, турки стреляют; он говорит: «А, это же наша позиция», — сел под куст, человек четырнадцать часовых высрал, горчицу эту свою достал, устроился. Пластуны натаскали сучьев, развели костры, разулись, сало из карманов вытащили, наладили котелки, — ленивые все, как буйволы. Диву дались турки, — перед самым носом расположились у них дяди, ружья сложили в козлы, кто захрапел, кто перед огнем поворачивается с бока на бок. Турки обождали полуночи и поползли; было их человек триста; часовых сняли, приноровились всю сотню живьем взять, по двое на каждого нашего кинулись. Сотник во сне чувствует: схватили. Вскинулся, палка ему попала от котелка, начал ею отбиваться, кричит: «Братцы, сонных вяжут!» А пластунам главное дело обидно, что сало их потоптали, переопрокинули все котелки. Они и рассердились. Часа два шла возня. Иванов говорит: только и слышно было, как черепа трещат; осталось на этом месте сто девяносто два турка, совершенно изуродованных, а пластунам пришлось всем ружья потом менять — приклады были поломаны. Так с позиции этой и не ушли, хотя и питались неделю одними сухарями.

Много еще историй рассказывал веселый доктор. Затем мы взяли фонарь и пошли в другой дом ночевать. В свете фонаря падали большие отвесные капли теплого дождя. Глухо шумела река... Пахло сыростью, цветами и землей. Из темноты выдвинулась лодка с двумя мрачными матросами. Приглядевшимся глазам стал приметен в тумане мутный месяц.

Облака, выморосив за ночь весь дождик, поднимались на лесные скаты гор, становились белыми, отрываясь, уходили в темно-синее небо и таяли. Мы снова проехали лагерь и двигались над рекой. Перспектива ущелья то озарялась, то гасла, освещенная солнцем из-под облаков. С каждым поворотом выступали вдали то синие, то бурые, то зеленые кулисы гор; направо и налево, невидимые вчера, стояли каменные снежные вершины, курясь белыми тучами.

Навстречу попадались всадники; лошади их, храпя на ворчащий, как демон, автомобиль, пятились к краю обрыва; всадники соскакивали, прижимались с лошадьми к скале. Буйволы, запряженные в арбу, поворачивали к нам головы приветливо и радушно; им было мило все на свете, к тому же они были так ленивы, что, завидя лужу, тотчас ложились в нее и лежали так долго, что на спину им забирались лягушки.

Миновали расположившийся в котловине у воды бивак пластунов; казаки в серых черкесках, в мохнатых шапках лежали на траве лениво, как буйволы; иные играли в орлянку, в карты. Прокатился по ущельям, отозвался много раз пушечный выстрел.

Миновали второй бивак, артиллерийский обоз. Артиллеристы тоже кто сидел, свесив ноги под кручу, кто пристроился на куче песку, двое ловили картузами ящерицу; при виде нас они сделали вид, что сморкаются. И один за другим неподалеку громыхали тяжкие выстрелы мортир; надрывающий шелест снарядов уносился в синее небо, за гору, в солнце.

«А вот там турки сидят», — сказал офицер, указывая пальцем на лесной скат высокой горы по ту сторону Чороха. Тогда я решил, что надо почувствовать, наконец, близость войны. Здешняя война не казалась даже отзвуком мировой катастрофы. Здесь ее понимают как необходимое продолжение бог знает когда начавшейся возни с мусульманским миром. Сейчас эта возня приняла большие размеры, и только. На турок никто не обижается, никто их не ненавидит; больше внимания уделяют

восставшим аджарцам; и война ведется не спеша, спокойно, как во времена Лермонтова и Льва Толстого.

Здесь храбрость и ловкость одного человека — солдата или офицера — имеют существенное значение. На том фронте за боевую единицу считают группу людей — взвод, роту, эскадрон; здесь один человек может решить участь битвы.

Около лагеря, где я был вчера, стоит гора — пять с чем-то тысяч футов; ее занимали одно время турки; их позиции были сильны, и наши войска повсюду попадали под жестокий обстрел.

Один из казачьих (пластунских) сотников — отчаянная голова — провинился в то время, не помню чем; генерал призвал его и сказал, что свой поступок он может совершенно загладить каким-нибудь не менее отчаянным делом, то есть вместо суда получить георгин. Сотник тряхнул бритой головой, попросил день срока, в ту же ночь выбрал двадцать восемь пластунов, сказал им речь такого рода, что они рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору. Пластун, выведенный из раздумья, стоит троих; что произошло на горе, никто хорошо не знает: слышали недолгую стрельбу, крики; турки в составе двух рот поспешно очистили гору, оставив множество оружия, убитых и раненых. Сотник получил крест.

Место, где стоял на шоссе горный артиллерийский обоз, было последним безопасным, — далее вся дорога обстреливалась. Мы оставили автомобиль и двинулись пешком, огибая высоко над Чорохом синеватые скалы.

Прямо на шоссе стояло на железном лафете орудие — такое длинное, что жерло его висело над пропастью; оно обстреливало занятые турками деревни за девять верст отсюда.

Далее вниз, по скату, раскинулась деревня Борчха<sup>62</sup> — наш крайний пункт. Здесь Чорох, разливаясь в сияющую под солнцем заводь, круто поворачивает налево. На той стороне стоят развалины гигантской древней крепости; две квадратных башни граничат ее в начале загиба реки и в конце. Слепляющее солнце поднимается за крепостью, за турецкой горой, на той стороне.

---

<sup>62</sup> Городок Борчха близ г. Артвин на турецкой территории.

У крайнего белого домика на крыльце стояли два офицера, курили и смеялись. Из двери вышел капитан без шапки, взглянул на нас, повернул голову и сказал: «Правее, два». — «Правее, два», — повторил шагах в двадцати от него бородатый мужик в шинели. «Правее, два», — сказал еще дальше второй бородач, сидя на парашете над пропастью. «Правее, два», — донеслось из-за заворота скалы. Капитан вынул папироску, прищурился на гору и сказал: «Огонь». — «Огонь», — повторил бородатый мужик. «Огонь», — сказал сидящий. «Огонь, огонь», — удаляясь, заговорили за скалой, и громыхнул тупой, как рев, выстрел пушки неподалеку.

Капитан выпустил изо рта дымок, повернулся на каблуках, ушел опять в домик к телефону.

Я побрел вдоль цепи солдат к орудию. Несколько глинобитных построек с края обрыва были исчерчены пулями. Дальше, у скалы, лежали рядом гранаты и шрапнель. Молодой солдат нагнулся к снарядам, поднял один и понес. «Огонь», «огонь», — пробежало по рядам, перегнало меня, и за выступом скалы опять ударила пушка; в небе на мгновение метнулся черный снаряд и заревел в высоту, за гору, отдаваясь в ущельях.

Я подошел к орудию, оно еще дымилось. Прислуга хлопотала около, чистила банником, накатывала; это была хорошая старая крепостная пушка, чрезвычайно пригодная для гор. «Уши бы надо, ваше благородие, закрыть», — сказал кто-то позади меня. Я не сразу понял и обернулся, оглядываясь. Вдруг в уши мне, в голову, в грудь стукнул тупой удар, лицо осыпало песком: это пушка выплюнула гранату и, подскочив, отпыхивалась. Солдаты улыбались, глядя на меня...

На обратном пути около домика меня остановил офицер, здороваясь представился штабс-капитаном В., указал на шагающего с винтовкой солдата и проговорил:

— Много в газетах о разных геройских подвигах пишут, а вот этот так и умрет — никто о нем не узнает. А по-моему, он — герой.

В это время герой проходил мимо; я всмотрелся: весь он был в морщинах, глаза выглядывали изза мохнатых каких-то щелок,

русая бороденка росла отовсюду, где только могла, ростом был так себе, сам неказист, точно выкопали его откуда-то плугом, как корягу.

В. продолжал:

— Он, изволите видеть, третьей очереди, пригнали его во Владикавказ, заставили перед казармами улицу мести, — словом, на легкую работу; видят — хилой мужичонка и семейный. Помел он улицу с неделю, явился по начальству и говорит: «Я с Китаем воевал и с японцем, нам подметать мусор неудобно; уж коли от своего деревенского дела отрешили, дозвоьте воевать». Его прогнали, конечно. Взял он хлеба каравай из пекарни, ночью тайком ушел по Военно-грузинской дороге в Тифлис, там порасспросил, на вокзале проводника побил: «Как ты, говорит, с воина смеешь деньги требовать», — приехал в Батум и сюда прямо, ко мне: «Ваше благородие, слышал, что вы разведчиками командуете. Дозвольте у вас послужить». И с первого же раза проявил отчаянность, и не совсем отчаянность, — все-таки отчаянный человек вроде пьяного, а этот линию свою рабочую до конца гнет, и никакого страха у него, разумеется, быть не может. «Ну, я думаю, шалишь, брат, я тебя зря терять не хочу». Вот, видите, ходит, коли не особенно нужно, он у меня на отдыхе, а беру его в самое что ни на есть трудное дело. И представьте, на днях получаю бумагу из Владикавказа, что он предается суду за побег. Хорошо? Нет, пусть они меня тоже судят. Я им отписал, что такой-то солдат представлен мною к георгиевскому кресту.

В. повел меня к себе в хибарку утощать чаем и свиной боковиной. В комнатухе у него были навалены турецкие винтовки, караваи хлеба, одежда, сапоги, табак и проч. Отодвинув на столе мусор, он очистил местечко, подал стакан чая, сам сел напротив, облокотился, подпер кулаками загорелое, суровое черноусое лицо свое и спросил, что, быть может, мне неприятно сидеть у окошка.

На вопрос: почему? — пожал плечами: «Черт их знает, в окошко из того вон ущелья частенько стреляют, разумеется не попасть, расстояние большое; а вчера, например, засыпали нас

пулями; мы от нечего делать начали отвечать из винтовок, студент-санитар и тот стрелял».

В., прихлебывая чай, попыхивая папиросой, рассказал про свое дело — разведку, вообще одну из важнейших операций в современной войне. Здесь, на Кавказе, наши и турецкие войска сидят небольшими кучками на вершинах; нашим войскам приходится выбивать противника с каждой вышки артиллерийским огнем, или штыковой атакой, или обходом, перерезывая питательную артерию. При таких условиях разведка чрезвычайно трудна: приходится в непосредственной близости неприятеля, иногда в ста — пятидесяти шагах, карабкаться по скалам, прятаться за камнями. Турки по ночам спускаются вниз небольшими отрядами, занимают щели, камни и поутру оттуда открывают стрельбу в упор. Никогда нельзя быть уверенным, что час назад чистое пространство сейчас не занято и неприятель в тылу. Усугубляется еще трудность тем, что турецким каторжникам, выпущенным из Трапезунда, и аджарцам выдается премия за каждого убитого русского, за его отрезанные уши, поэтому в густой чаще рододендронов, в зарослях лиан часто находят наших солдат обезображенными.

Руководя разведкой, В. ежедневно раза два поднимается в горы, проводит там всю ночь, прислушиваясь к звукам, приглядываясь к огням. Подкрадывается к вражеским часовым, снимает их или забирает в плен. Улучив удобное время, появляется со своими лазутчиками перед окопами, и турки, завидя перед носом узенькие штыки, надвинутые на уши фуражки, в ужасе бросаются по кустам, покидают высоту.

Рассказал В., как явился к нему с просьбой принять в разведочную команду молодой солдат, рябой и безусый, как работал всегда впереди, ловко и мужественно; а когда его ранили — оказалось, что это баба: бывшая укротительница зверей; цирк прогорел, лев у нее сдох, она и пошла воевать.

В. повел меня обедать к прапорщику. В узенькой душной комнатке с окном, повернутым к туркам и завешенным от соблазна ковром, сидели шесть молодых офицеров. Расторопный денщик ставил на стол горы котлет, жареной баранины и вареной, разносил в оловянных тарелочках похлебку. Бутылки

с вином и водкой стояли на столе, но никто не пил. Все были и без того веселы и здоровы с избытком. Накинулись все на еду, как волчата; с полным ртом один говорил: «Ей-богу, никогда есть так не хотелось»; другой повторил: «Вот это так котлеты»; третий: «Странная история — какой в горах аппетит». Затем кто-то заговорил об аджарцах, и поднялся шумный спор из-за того, простят их или запретят являться на родные места, и также о том, может ли вообще русский мужик сидеть в горах, как аджар, не заскучает ли на одной кукурузе. «Русский мужик, знаете, это вещь серьезная», — решено было под конец.

## 6.

Пароход грузился хлебом, сеном и припасами. На просторной открытой пристани, стоящей в воде на железных устоях, громыхали подвозимые к трапу телеги, ругались солдаты и матросы. Мирные аджарцы и оборванные персы в круглых, как трубы, барашковых шапках терпеливо дожидались очереди войти на палубу. Большой черный пароход уже свистел два раза; из бока его валил пар. Капитан торопил затянувшуюся погрузку.

Я лег на крышу трюма. Здесь же два солдата устроились с кипятком: вынули из ситцевого платка пол-краюхи и отрезали по ломтю, у обоих в карманах штанов оказалось по кусочку сахару; налили в жестяные кружки желтоватый кипяток; жмурясь от удовольствия, начали его прихлебывать, осторожно откусывая то от ломтя, то от кусочка; подошел третий, загорелый, плотный, чистый парень, посмотрел веселыми глазами.

— Кружку достал? А то и чаю нипочем не дам, — сказал один из водохлебов, высоченный солдат в полушубке.

Парень показал жестянку из-под консервов, щелкнул по ней ногтем:

— Хорошему человеку всегда дадут.

Высоченный налил ему чаю в жестянку, а другой проговорил:

— Да у него сахару нет. Он всегда так: придет на батарею ужинать — у него ложки нет.

— Я с сахаром не охотник, — ответил парень.

Высоченный не спеша шмыгнул носом, залез в штаны, вытаскивая замусоленный обгрызочек сахара, проговорил:

— На тебе кусочек.

Парень живо его сунул в рот и раскусил белыми, как кость, зубами.

Пароход двигался вдоль берега....

Город миновал; горы, с левой стороны от нас, подошли к морю. За их зелеными увалами светились снежные, словно выкованные из серебра, вершины. Развалины древней крепости на пологой отмели заросли плющом и лианами.

Перед нами далеко в море уходила желтая полоса пресных вод. Когда мы вошли в нее, в снастях и реях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья.

Из желтоватой воды, из-под самого пароходного носа, стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без всплеска.

В небольшом заливе, близ заросших кустами развалин древнего города, пароход бросил якорь. Три раскрашенных крутоносных лодки<sup>63</sup> отделились от берега, где толпился народ и ждали пустые снаряженные ящики. В первую лодку стали разгружать хлеб, во вторую по трапу спустились приехавшие, — среди них была сестра, отвозившая в город раненых, тихонькая, светловолосая, с простым утомленным лицом. Она задержалась, ступив на трап, потом оглянулась беспомощно: зыбкий трап, с веревкой вместо перил, качался над бездонной в этом месте зеленой глубиной; я взял сестру за кисть руки и попросил сходить не боясь; она послушно стала спускаться; на середине лестницы я почувствовал, что она почти теряет сознание от страха, но лишь ладонь ее вспотела внезапно, да несколько минут, пока ехали в лодке до берега, лицо оставалось бледным.

На берегу, на серых камешках, дожидались сена и хлеба обозы. К подъехавшей барке с хлебом подошли человек тридцать

---

<sup>63</sup> Раскрашенные лодки эти, крутоносые, как только что описанные дельфины, отсылают к теме греческой древности; ее поддерживает в продолжении текста упоминание фресок.

солдат, стали в два ряда, и с борта по воздуху, через солдатские руки, полетели караваи черного хлеба.

Сестра указала мне дорогу в лазарет. Недалеко от берега, между древних фундаментов, позднейших оград с татарскими памятниками и сожженных кустарников, начиналась узкая, всего аршина два, мостовая, сложенная из больших камней, как римские дороги. Через неширокий поток перекинут каменный мост, и другой вдалеке, а еще дальше стояла крепостца с квадратной башней, обвитой вечнозелеными лианами. На следующий день я побывал в этой крепостце; от нее сохранились два ряда стен с вросшими между камней чинарами, куда, слышав мои шаги, уползли со свистом несколько змей, маленький замок с остатками копоти и фресок на сводчатом потолке да башня, ее узкие бойницы обращены на ущелье и море.

Но еще заманчивее замка — мосты, крутой полуокружностью перелетающие через поток; казалось, они должны рухнуть, если сядет птица на них, — до того были тонки; но уже много столетий переходили через них ослики, груженные выюками, и тяжелые арбы с круглыми дисками вместо колес; город разрушен до основания, стерлась память о населявшем его народе, а мосты все еще стоят, напоминая, что не всегда жили здесь полудикие аджарцы, умеющие только сеять кукурузу да ставить на высоких чинарах кадушки для диких пчел.

На большой, чисто выметенной площади, окаймленной с севера цветущим яблоневым садом, а с юга — орехами и чинарой, стояли четыре здания, еще недавно попорченные шрапнелью. Напротив них раскинута большая парусиновая палатка и строился дощатый балаган: это и был приморский лазарет, в несколько дней оборудованный уполномоченным гр. Шереметевым, доктором М. и его женой.

Мне показали все помещения, конюшни для вьючных лошадей, склады белья и полушубков, затем повели обедать в татарский дом, в светлую небольшую комнату с огромным очагом и резными дверцами шкафов.

Доктор и его жена поднялись, как обычно, на рассвете и сейчас, к двум часам, были без ног. А дела не убавлялось, и они,

присаживаясь на минуту к столу, рассказывали со страстью о своей работе.

За окном послышался топот лошади. Доктор сказал:

— Это Орлов, должно быть, обедать приехал. — И в комнату вошел загорелый широкоплечий поручик; у пояса его висел маленький барабанный револьвер; штаны, лягушиная рубашка; даже эполеты были засалены, запачканы, местами прожжены.

— Вот он вам и покажет дорогу на позиции, — сказал доктор. — Пообедайте и поезжайте, у него и переночуете. Человек в некотором роде замечательный. В одной этой рубашке просидел весь декабрь и половину января на горе, на шести тысячах футов.

— Ничего замечательного нет. В горах простудиться нельзя, — проговорил поручик. Голос у него был крепкий, хриплый, глаза зеленые, зубы белые. — Все-таки пришлось потом ноги лечить; до сих пор считаюсь инвалидом, состою в слабосильной команде, на отдыхе. Сорок пять дней без отдыха воевал, слава богу.

Он был моряк, дрался с японцами — был тяжело ранен — и сейчас по собственному желанию списался на берег, чтобы повоевать на суше.

В декабре он получил спешный приказ занять со своей полуротой такую-то высоту; без провианта, в одной рубахе, сейчас же выступил и к ночи влез на снежную гору, где и окопался. Высота эта оказалась чрезвычайно важным пунктом; турки сосредоточили на ней большие силы, стреляли полтора месяца день и ночь. Денщик Орлова вырыл в снегу логовище, раздобыл для барина бурку и не переставая жег у входа костер. Во время метели, когда нельзя подвезти вьюки, солдаты и Орлов ели одни сухари; когда мороз крепчал, зажигали больше костров и грелись около них, не обращая внимания на свистящие в метели частые пули; на рубашке Орлова до сих пор остались следы угольков. Он никогда не мог заснуть дольше чем на час, — его будил или холод, или сознание, что за вьюгой, в темноте, карабкаются турки; но всегда был весел, потому что только этим да разделением тягот наравне с солдатами можно было поддерживать в них бодрый и твердый дух.

Во время наступления Орлов спустился в долину и сейчас же занял новую высоту. Турки на этот раз оказались очень энергичными: значительными силами они окружили гору, отрезали доставку провианта и пошли на приступ. Орлова сочли погибшим: горячий бой развернулся по всему фронту, и, чтобы выручить полуроту, нужно было отбросить всю толщу турок. Ночью Орлов сигнализировал электрическим фонариком, что еще жив, имеет пять раненых и двух убитых. Он подсчитал патроны, оказалось по двести пятьдесят на человека. Тогда он принялся всю эту ночь и следующий день обстреливать частым огнем пологий западный склон горы. Турки в этом месте подались и попрятались в окопы. Вечером он сам пошел на разведку, был атакован, турка, бросившегося на него, убил из маленького своего барабанного пистолетика, определил уязвимое место турецкого расположения и ночью ринулся туда со всеми солдатами, унося раненых. Взбешенные турки сделали все, что могли; они убили еще четырех наших и многих ранили. Орлов вывел свою полуроту к морю, к нашим войскам и явился перед офицерами без шапки, одичалый, голодный и веселый; было похоже, что он свалился с того света.

Солнце зашло за лесистые вершины; в ущельях поднялись влажные испарения. Орлову и мне подали верховых лошадей — гнедую и сивую; мы шажком проехали через сад, спустились к шумному потоку и гуськом двинулись по узкой тропе, вьющейся вдоль ущелья, над зелеными огромными камнями и водопадами горной речки. Пахло туманом и цветами лавровишни. Орлов посвистывал, сдерживая каракового жеребца. Тропа то падала вниз, то, круто заворачивая, лепилась по гребню скалы. Совсем стемнело, над горами высоко стоял месяц, загнув кверху острые рога.

Мы въехали в деревеньку; в неясном сумраке белели яблони, тонкие деревца миндаля растопыривали редкие и длинные прутья с цветущими пуговками, пышные заросли рододендрона пылали темным цветом.

Мы соскочили у крыльца ветхой избенки, отдали матросу лошадей и вошли вовнутрь. В первой дощатой комнате перед нарами горел на земляном полу костер, с потолочной балки све-

шивался на цепи котелок, вокруг огня сидели чумазные солдаты; в дверях второй комнаты, у денежной шкатулки, стоял часовой, блеснул от огня его штык и краснела щека.

— Чайку нам поскорее да сальца поджарить, — весело крикнул Орлов, проходя мимо костра и часового в третью комнатешку.

## 7.

Орлов прибавил в жестяной лампе огоньку и, присев за ветхий столик, принялся просматривать поданные ему бумаги. Комната была в два окошка; вдоль стен лежали низкие татарские нары; на них в углу постлана кошма и валялась ситцевая подушка — постель поручика; в другом углу стоял, бог знает откуда попавший сюда, круглый столик, какие бывают у зубных врачей; на нем в бутылках — цветы; в дальней стенке — большие щели; сквозь них виден огонь костра, слышны негромкие голоса сидящих вокруг солдат.

— Туман сам знаешь какой, — говорит за стеной солдат у огня. — Поползли они с горы, а мы стрелять; они тут же закопались в землю, как черви.

— Видишь ты — как черви, — повторил в раздумье другой голос.

Входит матрос; на нем поверх одежды парусиновая рубаша, парусиновые портки, грязные, даже совсем черные; на голове — детская шапочка с ленточками; он держит сковородку с прыгающим на ней салом и кусок калача; руки у него такие же черные, как сапоги; лицо румяное, с большими усами; он предлагает мне сала и чайку таким приятным голосом, что становится вкусно.

Орлов кончил писать и спрашивает, где доктор. «А я же не могу знать», — отвечает матрос. В это время в дверях появляется странная фигура: худой, чрезвычайно бледный мужчина с редкой и рыжей бородой; нос, углы губ, веки и борода висят у него вниз, как отмокшие; на голове — барашковая шапка, одет в синий какой-то капот с остатками серебряных пуговиц.

— Доктор, не хотите ли чаю с нами? — говорит Орлов.

Не ответив, доктор садится на стульчик; в руках у него — длинная палка, положив на нее руки, он смотрит на лампу.

— Хожу весь вечер, хожу — нет нигде свечки. Неприятно в темноте сидеть, — говорит он тоскливым голосом.

Орлов спрашивает его, не прибыло ли еще больных в команду, рассказывает про сегодняшний день. Мы беседуем о разных вещах, касающихся войны и не касающихся.

— Свечки нельзя найти здесь, как неприятно, — опять говорит доктор.

За все это время он ни разу не пошевелился.

После чая мы выходим на воздух, двигаемся мимо плетней и орешин вниз к потоку; от луны, чуть задернутой туманом, светло. Доктор с длинной палкой медленно идет за нами. Я обращаюсь к нему, говорю, что никогда в жизни не видел подобной красоты — сочетания моря, снега и цветов.

— Что-то мне мало нравится природа. Так, какая-то, — говорит доктор, — в Киеве лучше. — И, постояв, он возвращается в лагерь.

Мы переходим через мостик; на косогоре виден костер, темные фигуры солдат и профиль большой пушки.

— Ровно в половине седьмого она разбудит нас, — говорит Орлов. — Я вам советую дожждаться обоза; вьюки пройдут около восьми часов, с ними и доберетесь до позиций.

Мы так же медленно возвращаемся; летучая мышь все время ныряет над головами, должно быть она привыкла, что около людей толкуются комары.

— Что это доктор какой мрачный? — спрашиваю я.

— Так. Он, знаете, из Киева, домосед, — отвечает Орлов, — человек очень все-таки хороший.

Доктора мы встречаем около домика.

— Достали свечку? — кричит Орлов.

— Матрос нажевал воска, устроил свечку; воняет очень, как у покойника, — отвечает доктор тихим голосом.

В комнате уже приготовлена мне походная постель: парусина, растянутая на множестве ножек, таких тонких, что страшно повернуться. Орлов ложится на кошме не раздеваясь, только сняв фуражку. Перед сном он копается в своем имуществе: ран-

це, где лежит смена белья, коробка папирос, бутылка коньяку и рыжая, простреленная папаха, — вынимает солдатскую газету, издаваемую в крепости, придвигает лампу и устраивается почитать на ночь, но я успеваю только повернуться на своей сохроножке — Орлов уже спит.

Разбудил меня глухой выстрел и грохот, долго катавшийся по ущельям. Я открываю глаза. Совсем светло, за окном — легкий туман и пощелкивают соловьи. Орлова уже нет в комнате; его голос, еще более хриплый, и голоса солдат слышны с крыльца. Матрос опять приносит подпрыгивающее на сковородке сало и чай в банках из-под варенья.

— Доедете с вьюками до питательного пункта, — говорит мне Орлов. — Лошадь оставите при палатке, а сами лезьте наверх, где стоит наша батарея; оттуда видны турецкая равнина и Хопа, ее сейчас обстреливают наши суда. В батарее спросите капитана Н. Милейший человек, он вас и завтраком покормит, да кстати не забудьте посмотреть на Маньку, на его денщика. Знаменитый денщик! Приготовляет баранину на тридцать восемь фасонов, пудинг из нее делает. Был с ним такой случай: сидел капитан с этим Манькой на горе, в снегу. Внизу — деревня, позади нее — турки; деревня пустая — одни куры бродят. Капитан загрустил, напала на него меланхолия. Манька все поглядывает на его благородие, видит: дело плохо. А на горе в ту пору одни только сухари ели. «Поесть бы вам курятины», — говорит ему Манька. Капитан чего-то буркнул в ответ, Манька ушел; а потом смотрят — он в деревне за курами бегают и турки по нем стреляют из окопов. Он все-таки одного петуха схватил да в кусты с ним, за камни. Пригатачил на гору и сварил. Капитан ему говорит: «Не могу же я тебе, дураку, за петуха крест дать. Не смей больше слезать с горы без моего разрешения».

Ровно в восемь часов прошли провиантские вьюки. Я сел на свою лошаденку и тронулся за ними. Узкая тропа вилась вдоль ущелья. Внизу в камнях шумел поток. С правой стороны поднимались то отвесные скалы, то откосы, поросшие рододендронами и чинарами; с левой стороны — обрыв.

Рододендроны в полном цвету; среди лапчатых глянцевиных листьев пылали темно-лиловые чаши цветов. На лавровишне

распускались белые пахучие свечки. Встречались поляны, сплошь синие от фиалок. Тропа медленно поднималась в гору. Иногда из лиловых чащ рододендронов с шумом вырывались водопады и падали в пропасть. Лошади переходили воду осторожно, нюхали ее. На камешке сидел солдат; ружье и амуниция лежали подле; он мылил себе лицо, шею и бритую голову, фыркал, и вода текла с него совсем черная. Дальше шли два усталые солдата, неся в руках охапки цветов. Посреди тихой воды разлившегося водопада моя лошадь остановилась и принялась пить, переступая от удовольствия с ноги на ногу. У берега, между камней, прибита изодранная красная феска; на краю кручи, в ветвях одинокой мощной чинары, устроен насест, где сидел еще неделю назад турецкий наблюдатель, хозяин красной фески.

Отсюда, глубоко внизу, видно море; над ним повисли небольшие овальные облака. Шум водопадов едва достигал досюда. Здесь только медленно шелестели серебряные, серые леса чинар. На скатах, на примятой зелени кустов, лежал местами снег. С легким свистом высоко над головой проносились снаряды на юг, за лесистые гребни. Дорога стала чаще заворачивать, виться зигзагами, все круче кверху. На иных поворотах из темных ущелий налетала снежная прохлада, ветер подхватывал полы одежд, хвосты лошадей. Один раз пришлось спуститься глубоко вниз на круглую поляну, где разбросаны огромные камни, покрытые мохом; между ними в низких белых палатках спали солдаты; иные сидели около кипящих котелков; от дерева к дереву шел канат-коновязь, где стояла дюжина рыжих лошадок.

Отсюда дорога пошла еще круче, между снеговых полян; обозные и я двигались пешком. Это была самая трудная и долгая часть дороги. Бока лошадей, покрытые потом, раздувались; из-под вьюков шел пар.

На самом грязном месте работали приехавшие давеча персы и аджарцы: они сгребали лопатами грязь, она же опять натекала с боков и затягивала ноги. Здесь уже не было слышно ни выстрелов, ни шума воды. Среди снежных полян в тишине стояли серебряные леса.

Когда мы выбились из сил, показалась за поворотом большая палатка, дым костра, мохнатые лошадки и солдаты

в белых папахах. Это и был питательный пункт В. З. С.<sup>64</sup> Студент-санитар и мальчик-повар подошли к вьюкам и стали их разгружать. Я повалился на тюк прессованного сена около костра, протянул мокрые сапоги к огню. Сидящие около солдаты замолкли; матрос с забинтованной головой подбрасывал сухие веточки в костер, где закипал эмалированный чайник.

— Подошвы спалите, — обратился ко мне солдат, сидящий рядом.

Я ответил и, должно быть, успокоил его и остальных насчет моего благодушия и нелюбопытства; матрос опять устался на огонь, держа в руках веточки; остальные повынимали из рукавов сигарки. Матрос продолжал:

— Вначале-то, конечно, опасно. Пуля не разбирает, где летит. А потом все равно, ей-богу. Как работаешь. И не хочется, чтобы зря стрелять, а хочется, чтобы попасть.

— А как тебя в голову стукнуло? — спросил солдат.

— За пограничным столбом, на тропе. Приказано было дойти до тропы; четырнадцать человек пошли, пятнадцатый — вольноопределяющий. Доползли, легли за гребешок, позади нас — большой камень; вольноопределяющий вскочил на него — стрельбу проверять; тут же ему прямо в шею попало — свалился мертвый, не дыхнул. А я, знаешь, камешек эдакой положил перед собой и стреляю, а позади нас тыркаются пули ихние, как шмели; в камень тыркнется и пыхнет, а которая близко разорвется — все лицо обдаст, как оспой; гляжу, у кого вся щека в оспе, у кого лоб в крови, — пуля ихняя как пыль, так ее рвет. Ну, потом и меня в это место чиркнула, — штука нехитрая.

Чайник вскипел. Студент грузин принялся меня угощать со спокойной настойчивостью. Солдат, еще пахнувший пороховым дымом, привел товарища — армянина с разрезанным рукавом, из которого висела черная рука, обвязанная окровавленным бинтом. Студент попросил раненого присесть, подождать, пока сварится борщ, уже дымящийся в медном котле. Раненый присел около палатки; солдат, что привел его, остался стоять, опираясь на ружье.

---

<sup>64</sup> Всероссийского земского союза. (Прим. ред.)

— Кто тебя перевязал? — спросил студент.

— Сестрица его перевязала, наша сестрица, — ответил солдат. — Она за нашей ротой ушла, с нами и в окопах сидит.

— Храбрая сестрица, — сказал я.

— Да, не пугливая. Пугливая не пошла бы, — ответил солдат.

Мирные разговоры, тишина серебряного леса, дым костров, похрустывание и фыркание коней, иногда сложное ругательство солдата, споткнувшегося о лиану, — все это совсем не было похоже на войну. А между тем над нами, на вершине горы, в пятнадцати минутах ходьбы, стояла батарея. Сегодня утром ее засыпали пулями турки, выбитые к полудню и опрокинутые вниз. Внизу за горой, верстах в двух, наши роты, спускаясь одна за другой в турецкую долину, вступали в бой. Но ружейных выстрелов не было слышно, а пушки молчали.

Я вырезал себе палочку покрепче и полез на батарею по топкой узкой тропе, зигзагами взбегающей в снегах и примятых кустах рододендрона.

Невероятно, как могли сюда втащить пушки. Человек налегке едва вползал, с хлюпом вытаскивая ноги; от разреженного воздуха кровь стучала в виски. Говорят, артиллеристы, бородатые мужики, плакали от усталости, поддерживая завьюченных в пушки лошадей, путающихся в кустах, скользящих по снегу и грязи. Но все же к назначенному часу орудия были уставлены на горе и открыли огонь.

Едва я поднялся на гребень, как сильный ветер, свиставший между чинар, сорвал с меня папаху. Глубоко внизу раскатывались орудийные выстрелы. Я прошел между низкими палатками к небольшому каменистому возвышению, где росло приземистое десятиобхватное дерево. У подножия его, на краю обрыва в несколько тысяч футов, стояли пушки, обращенные жерлами на юг и к морю. Несколько солдат, бородатых и суровых на вид, лежало на мху. Здесь же в яме сидел телефонист, с надетой на голову стальной полоской. Я спросил командира батареи; мне указали на кусты. В них, почти на самой земле, расстилался парус палатки. Я подошел, отогнул край парусины; голос попросил меня войти, и по земляной приступке я спустился в яму, прикрытую сверху парусом, простреленным во многих местах.

На походной постели сидел офицер с татарскими усиками и бородкой; другой сидел на куче полушубков; у него было очень красивое, не то печальное, не то усталое лицо, голубые глаза, и весь он был чисто побритый и одетый чисто. Перед ними на складном стульчике — жестяные тарелочки, чашка и бутылка портвейну; и здесь же, перед вырытым в земле углублением, полным жарких углей, присел на корточках белобрысый денщик Манька, держа сковороду с шипящими котлетами.

Офицеры пожали мне руку, как старому знакомому, усадили на койку, предложили еды и вина.

— А мы только что окончили работу, помылись, и вот Манька нас котлетами кормит, — сказал батарейный командир с татарскими усиками. — Нигде так есть не хочется, как на батарее, а повар у меня знаменитый.

Ветер в это время дунул в палатку, поднял пепел с углей. Манька отвернул лицо и недовольно сморщился.

— Не любишь, — сказал ему командир. — Смотрите, рожа какая недовольная. Сегодня мне говорит: ему, видите ли, воевать очень надоело; какое, говорит, это житье на горе, здесь и котлет не сжаришь; в городе, лот это — житье. И ему хоть что: стреляют в нас, не стреляют — ходит себе, посвистывает, как скворец. А когда сковородку ему прошибло пулей, ужасно рассердился — и на турок, и на меня, и вообще на войну.

Манька сидел перед огнем, совершенно равнодушный, и как будто и не про него говорили, затем поставил сковородку на стульчик, подал обструганные палочки и вышел из палатки, недовольно отряхивая пепел с рубашки и штанов.

Наливая в чашку вино, командир подмигнул на товарища:

— Ну-ка, с днем ангела.

— Оставь, пожалуйста, глупости, кому это нужно! — ответил печальный офицер.

Я попросил его взять у меня кисет с табаком и трубку; он отказался.

— Вот тебе, брат, именины — и с подарками. Бери, бери, не отказывайся! — закричал командир.

Тогда офицер дал мне в обмен свой портсигар, с изображением самоеда на олене, и мы вышли из палатки.

Командир указал на ближнюю вершину, повыше нашей, — на ней еще сегодня сидели турки. Оттуда они на расстоянии ста шагов лупили по батарее, но каким-то чудом никто не был ранен, и к тому же их скоро выбили оттуда. Затем подошли к обрыву, к пушкам и подняли бинокли. Внизу под нами лежало просторное рыжее плоскогорье, сморщенное узкими оврагами, покрытое небольшими конусообразными вершинами и длинными увалами, подходящими к морю; у моря в одном месте оно поднималось довольно круто, и за лесом белело несколько домиков Хопы, за обладание которой боролись наши и турецкие войска. Справа, с моря, синего и взволнованного, доносились глухие выстрелы. Вдали стояла узенькая серая полоска, на ней появлялись время от времени огненные иголки, — это был наш военный корабль, обстреливающий Хопу.

На равнине виднелись крохотные домики брошенной деревни с правильными зигзагами окопов близ нее. За деревней дымились пожарище, двигались человеческие фигурки, и неслась оттуда частая трескотня выстрелов. Это были наши Передовые цепи, только что выбившие турок из селения. Кое-где по полю торчали колья как бы проволочных заграждений; у подножия холма я различил пушку за кустами, но пушка была деревянная, — и она и заграждения были только обманом, турецкой хитростью.

Гораздо дальше, за сизым дымом, стелющимся по земле к морю, передвигались по рыжей неровности темные пятна: это отступала турецкая колонна, гоня стада баранов.

— Эх, кабы на полверсты поближе, — прошептал офицер. Бинокль его дрожал; офицер командовал орудием, разбудившим меня нынче поутру; оно било на много верст, но сейчас турки оказались вне его достижения.

Смотрели на турок и командир батареи и бородачи-солдаты; у всех на устах была легкая улыбка. Вдруг из ямы высунулась голова телефониста и проговорила поспешно:

— Ваше высокородие, просят огонь на такую-то высоту, такой-то прицел.

— Нумера к первому орудию, прицел такой-то, — сказал командир и обратился ко мне: — Вот, на ваше счастье, и посмот-

рите, как мои молодцы работают. Это все — георгиевские кавалеры, — прибавил он серьезно и указал на стоящего около крепкого мужика с белыми ресницами, — вот его представляю к Георгию третьей степени. Это, знаете, — друзья и товарищи. «Огонь!» — сказал он наводчику, который, сидя верхом на лафете, повернул голову, говоря глазами, что все готово. Наводчик слез; другой солдат взялся за чурочку, привязанную к концу шнура, и дернул. Пушка рывкнула, пыхнула, отскочила назад и вновь села на место; удаляясь, засвистел снаряд. Прошло минуты полторы. У моря, над лесной горой, блеснула красная искра и расплылось плотное белое облако.

— Правильно, недолет! — закричал телефонист, высовываясь из ямы. Командир попросил взять повыше. Снова рывкнула пушка, и над лесом, повыше, брызнуло вниз пламя, расплылось облаком.

— Хорошо, отлично! — закричал телефонист.

— Огонь, огонь! — повторил командир. И пушка послала еще десять шрапнелей. Стрельба была по невидимой цели; ее корректировали с соседней горы.

Был уже четвертый час. Мне хотелось засветло спуститься с гор. Хотя ни офицеры, ни я не сказали друг другу ничего необыкновенного, но, прощаясь, я почувствовал, как эти два незнакомых человека на дикой горе мне близки и дороги. Мы долго жали друг другу руки, мы не обещали встретиться когда-нибудь, а просто так полюбили друг дружку на час двадцать минут — и все. Проходя мимо палатки, я увидел Маньку. Он с сердцем чистил сковородку.

— Хорошие были у тебя котлеты, — сказал я ему.

— Житье тоже, — проворчал он, — гора! — отвернулся и сплюнул.

На закате я спускался с гор по той же узенькой топкой тропе над пропастями. Лошадь моя скользила, съезжала и едва вытаскивала ноги, на поворотах останавливалась, произносила «ух!» и, чтобы я не погонял ее, делала вид, что внимательно прислушивается к чему-то или смотрит на пейзаж. Я похлопывал ладонью по ее шее; лошадка вздыхала и вновь осторожно принималась скользить по крутым, головокружительным карнизам.